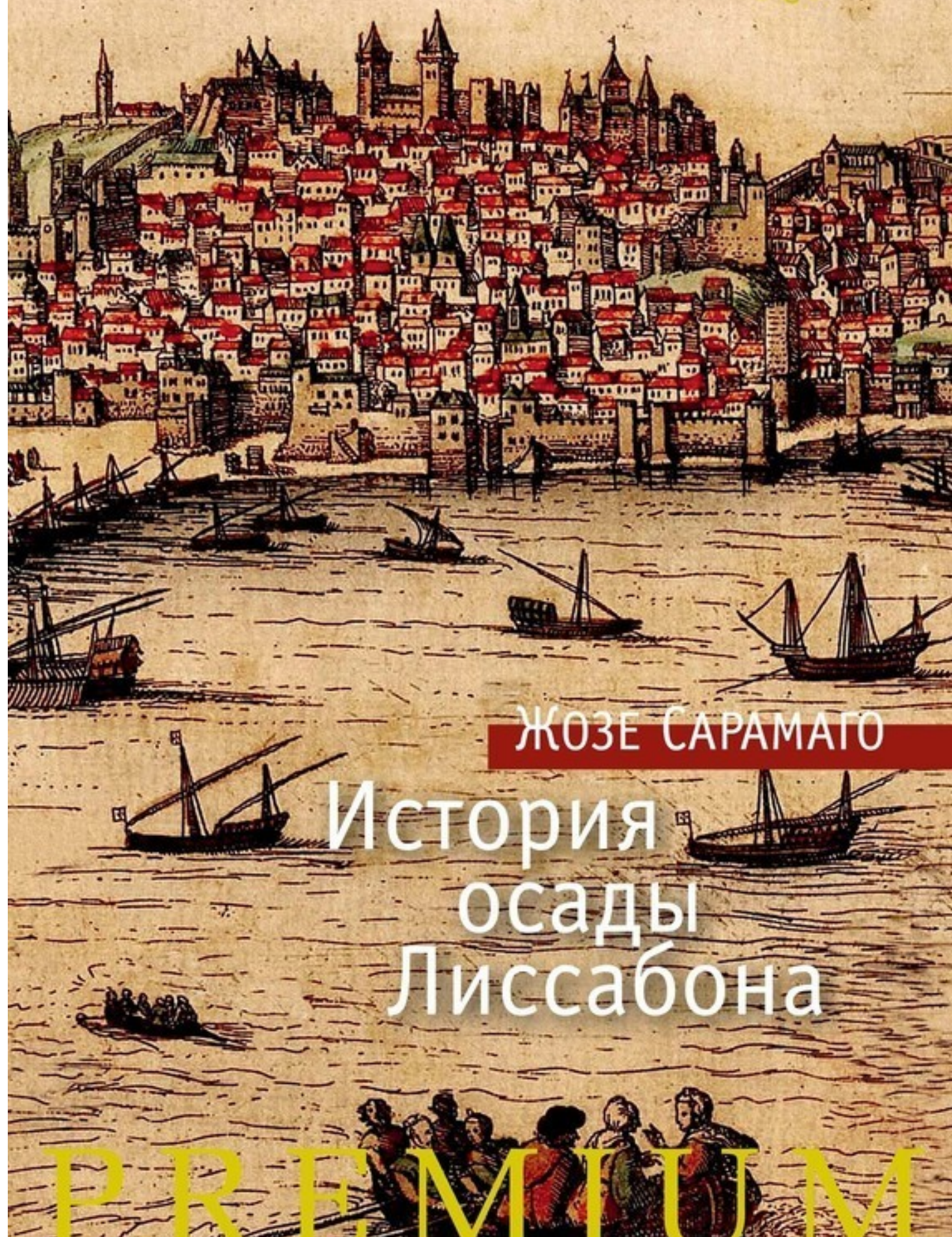




Нобелевская
премия
по литературе
1998 года

В ПЕРВЫЙ
РАЗ
НА
РУССКОМ



ЖОЗЕ САРАМАГО

История осады Лиссабона

PREMIUM

Азбука Premium

Жозе Сарамаго
История осады Лиссабона

«Азбука-Аттикус»

1989

УДК 821.134.3
ББК 84(4Пор)-44

Сарамаго Ж.

История осады Лиссабона / Ж. Сарамаго — «Азбука-Аттикус», 1989 — (Азбука Premium)

ISBN 978-5-389-12427-1

Жозе Сарамаго – один из крупнейших писателей современной Португалии, лауреат Нобелевской премии по литературе 1998 года, автор скандально знаменитого «Евангелия от Иисуса». Раймундо Силва – корректор. Готовя к печати книгу по истории осады мавританского Лиссабона в ходе Реконкисты XII века, он, сам не понимая зачем, вставляет в ключевом эпизоде лишнюю частицу «не» – и выходит так, будто португальская столица была отвоевана у мавров без помощи крестоносцев. И вот уже история – мировая и личная – течет по другому руслу, а сеньора Мария-Сара, поставленная присматривать над корректорами во избежание столь досадных и необъяснимых ошибок в будущем, делает Раймундо самое неожиданное предложение... Впервые на русском.

УДК 821.134.3
ББК 84(4Пор)-44

ISBN 978-5-389-12427-1

© Сарамаго Ж., 1989
© Азбука-Аттикус, 1989

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.	45
-----------------------------------	----

Жозе Сарамаго

История осады Лиссабона

Посвящается Пилар

Пока не постигнешь истину, не сумеешь исправить ее. Но пока не исправишь – не постигнешь. Так что – не смиряйся.

Из Книги Наставлений

José Saramago

HISTYRIA DO CERCO DE LISBOA

Copyright © The Estate of José Saramago, Lisbon 1989

All rights reserved

Published by arrangement with Literarische Agentur Mertin Inh.

Nicole Witt e K. Frankfurt am Main, Germany© А. Богдановский,

перевод, 2016

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2016

Издательство АЗБУКА®

* * *

Сказал корректор: Этот значок вымарки, по-латыни – *делеатур*, ставится, как явствует из самого названия, когда надо убрать, удалить, уничтожить отдельную букву или целое слово. Напоминает змею, которая укусила себя за хвост, да тут же и раскаялась. Верно подмечено, господин автор, ведь и в самом деле – как бы ни опротивела жизнь, перед шагом в вечность даже змея призадумается. Покажите, пожалуйста, еще раз, только медленно, как вы это делаете. Да вот так, это же очень просто, ничего не стоит наловчиться, кто смотрит невнимательно, решит, что моя рука рисует порочный круг, но нет, видите, я не оборвал движение в той точке, откуда начал, а пошел вбок, внутрь, и теперь поведу вниз, пока не пересеку нижнюю часть кривой, так что вам покажется, будто это всего-навсего заглавная Q. Жалко, рисунок обещал больше. Удовольствуемся иллюзией сходства, и, выйдя на философское обобщение, скажу вам, господин автор, как на духу, что если есть в жизни хоть что-то интересное, то это именно различия. Какое отношение это имеет к издательской корректуре. Господа авторы витают в заоблачных высях и не тратят драгоценную мудрость на всякую ерунду, вроде увечных, калечных, переставленных букв, как определяли мы их во времена ручного набора, когда различие и ошибка значили одно и то же. Признаю, что правлю не по правилам, строчу свои каракули как бог на душу положит, доверяю проницательности наборщиков, боковой ветви славного эдипова племени провизоров, способных разгадать на рецепте даже то, что еще не написано. А потом – корректорам, приходящим на помощь. Ну да, вы ведь наши ангелы-хранители, вам мы вверяем свой труд, и вот вы, к примеру, напоминаете мне мою трепетную матушку, которая в детстве причесывала и перечесывала меня снова и снова, чтобы пробор был как по линейке. Спасибо за сравнение, но если ваша матушка уже покинула этот мир, хорошо бы вам теперь самому взяться за совершенствование, всегда ведь наступает день, когда исправление должно идти вглубь. Исправлять-то я исправляю, но справляюсь с наибольшими трудностями быстро и легко – просто пишу одно слово поверх другого. Это заметно. Отчего такой неприязненный тон, ведь в пределах своей компетенции я делаю, что могу, а кому на свете удастся сделать, что может. Большого от вас

никто и не требует, особенно если – как в вашем случае – отсутствует вкус к переменам, удовольствие от новизны, тяга к правке. Авторы правят бесконечно, мы никогда не бываем довольны. Что же вам еще остается, если учесть, что совершенство обитает исключительно в горних высях, но наша правка – это дело другое, непохожее на ваше. Не хотите ли вы сказать, что секте корректоров нравится то, что она делает. Нет, так далеко я, пожалуй, не решаюсь зайти, все же это зависит от призвания, а корректор по призванию – это неизученный феномен, но все же в тайная тайных души мы, корректоры, весьма сладострастны. Первый раз слышу о таком. Каждый новый день приносит новые горести и радости, а кроме них, дает нам полезные уроки. Основываетесь на собственном опыте. Вы про уроки. Я про сладострастие. Разумеется, на собственном, должен же у меня быть хоть какой-то, но наблюдения за другими людьми учат морали не менее основательно. Применив этот критерий к иным писателям прошлого, увидим, что они и корректоры были великолепные, стоит лишь вспомнить гранки романов Бальзака, например, какой же это ослепительный фейерверк исправлений и добавлений. Упомяну, дабы не обойти молчанием отечественные примеры, что наш, тутошний Эса¹ делал то же самое. Мне пришло в голову, что и Бальзак, и Эса стали бы счастливейшими из смертных, окажись они перед компьютером, ведь на нем так удобно вставлять, переставлять, убирать, восстанавливать слова и менять местами целые главы. Но мы, читатели, никогда бы в таком случае не узнали, по каким путям они шли, в каких дебрях блуждали, прежде чем их мысль облеклась в определенную и окончательную форму, если, конечно, таковая вообще бывает на свете. Ну-ну-ну, важен в конечном счете лишь результат, и нам мало чем пригодятся сомнения и пробы Данте или Камюэнса. Вы, господин автор, рассуждаете как человек современный, человек практический, человек, живущий уже в двадцать втором веке. А скажите-ка лучше, у других корректурных знаков тоже есть латинские названия, как у этого *делятура*. Если даже есть или были, я о них ничего не знаю, не прижились как-то или звучали так замысловато, что язык сломаешь, а потому исчезли. Во тьме времен. Простите, что возражаю вам, но я бы не стал употреблять это выражение. Потому, вероятно, что это клише. Вовсе нет, клише, штампы, устойчивые словосочетания, расхожие выражения, общие места, присловья и поговорки могут звучать свежо и неожиданно, просто надо уметь правильно пользоваться ими – такими, каковы они были и каковы стали. Почему же в таком случае вы не сказали бы во тьме времен. Потому что тьма времен рассеялась, когда люди начали писать или, повторяю, править написанное, ибо это другой уровень совершенства и преображения. Хорошо сказано. Вот и мне так кажется, и главным образом потому, что сказано впервые, повторение было бы уже не столь удачно. Превратится в банальность. Или в трюизм, выражаясь по-ученому. В ваших словах мне чудится некий горький скептицизм. Скорее уж скептическая горечь. Разница невелика. Невелика, но существенна, обычно писатели чутко улавливают такие различия. Значит, я неловок и нечуток, а вернее, тугоух. Простите, я сказал без умысла. Что вы, я хоть и нечуток, но не столь уж чувствителен, так что продолжайте, но сперва скажите, откуда этот скепсис или, если угодно, горечь. Окиньте мысленным взором корректорские будни, господин автор, вдумайтесь, какая это трагедия – по два, три, четыре, по пять раз читать книги. Которым и одного-то раза много. Прошу заметить, столь ужасные слова произнес не я, ибо хорошо знаю свое место в мире литературы, а сам хоть и сладострастник, но сладострастник, преисполненный уважения к. Не вижу тут ничего ужасного, но мне показалось, что в концовку вашей фразы, столь красноречиво оборванной, мои слова просто напрашиваются. Хотите увидеть – отправляйтесь к авторам, подстрекните их полуфразой моей и полуфразой вашей и услышите в ответ знаменитую басню про Апеллеса и сапожника, который указал художнику на неправильно выписанный баш-

¹ Эса де Кейрош Жозе Мария (1845–1900) – португальский писатель, представитель критического реализма. – *Здесь и далее примеч. перев.*

мак, а потом, убедившись, что упущение исправлено, немедленно высказался и по поводу анатомии колена. Вот тогда и произнес рассерженный такой дерзостью Апеллес свои бессмертные слова, попросив его судить не свыше, так сказать, пределов своей компетенции. Дело известное, кому же понравится, когда к нему в дом заглядывают через забор. В данном случае Апеллес был прав. Может быть, но лишь до тех пор, пока не взглянет на полотно человек, сведущий в анатомии. Удивительный вы все же скептик. В каждом авторе сидит Апеллес, но искушение стать сапожником чрезвычайно распространено среди людей, и, в конце концов, только корректор знает, что правка – это работа, которая не иссякнет в мире никогда. А часто ли вас, пока работали над моей книгой, охватывало такое искушение. Возраст уж тем хорош, впрочем тем и плох, что смиряет наши порывы, и даже самые сильные искушения теряют свою остроту и не требуют, чтоб им уступили безотлагательно. Иными словами, вы заметили погрешность по части обуви, но смолчали. Нет, скорей уж – не высказался по поводу неправильно нарисованного колена. Вам понравилось. Понравилось. Как-то не слышится восторга в ваших словах. Да и в ваших, признаться, тоже. Это тактика, ибо автор, чего бы ему это ни стоило, должен изображать скромность. Скромность должна быть присуща корректору, но если однажды он позволит себе отринуть ее, то тем самым вынудит себя стать верхом совершенства в образе человеческом. Приглядитесь к этой фразе – себе, себя, быть присуща; согласитесь, это нехорошо, громоздко и коряво. В речевом потоке вполне простиительно. Может быть, но непростительна скупость вашей похвалы. Хочу напомнить, что корректоры – люди исключительно трезвомыслящие и всего-всего навидавшиеся и в жизни, и в литературе. В свою очередь хочу напомнить, что моя книга – это история. Да, по классической жанровой классификации следовало бы определить ее именно как исторический труд, и, хоть и не хочется снова перечить вам, дорогой автор, возьму на себя смелость заявить – все, что не жизнь, то литература. История тоже. История прежде всего, только не обижайтесь. А живопись, а музыка. Музыка сопротивляется с момента своего появления на свет, бьется, мечется туда-сюда, хочет освободиться от слова, оттого, полагаю, что завидует ему, но неизменно приводится к покорности. А живопись. А живопись – вообще не более чем литература, созданная кистью. Надеюсь, вы не забыли, что человечество начало рисовать задолго до того, как научилось писать. Знаете поговорку – за неимением гербовой пишут на простой, а иными словами, если не умеешь писать – рисуй, как делают дети. Ваши слова значат, что литература существовала еще до своего рождения. Именно так и в точности как человек, который существует, еще не став существом. Своеобразный взгляд. Да нет, дорогой автор, еще царь Соломон, живший столько лет назад, утверждал, что нет ничего нового под солнцем, и если это признавалось даже и в те отдаленнейшие времена, что уж говорить сейчас, по прошествии, если мне не изменяет моя энциклопедическая память, тридцати веков. Забавно, вот спроси меня – историка, между прочим, – так вот, внезапно, в лоб, что там было столько лет назад, я, пожалуй, не вспомню. Такое уж свойство у времени, оно бежит, а мы не замечаем, ибо погружены в наши повседневные заботы, а потом вдруг спохватываемся и восклицаем: Господи, вот ведь как время-то бежит, уж три тысячи лет прошло, а царь Соломон еще жив. Сдается мне, вы ошиблись со своим призванием, вам бы философ быть или историком, есть у вас для этих ремесел нужные качества. Образования не хватает, а куда ж человеку податься без образования, спасибо уж и на том, что, придя в этот мир хоть и с недурными наследственными свойствами, но бревно бревном, я все же потом самую малость пообтесался и усвоил кое-какие начатки того-сего. Можете считать себя примером самоучки-самородка, достигшего успеха благодаря собственным благородным усилиям, и стыдиться тут совершенно нечего, в былые времена общество гордилось такими. Былые времена быльем поросли, развитие остановилось, на самоучек ныне смотрят косо, длить бытие в этом статусе позволено лишь тем, кто сочиняет стихи и забавные истории, им повезло, а вот я, признаюсь вам, никогда не тяготел к литературному творчеству. Нет, все

же вам, знаете, прямая дорога в философы. Ваш юмор, господин автор, так искрометен и тонок и во всем так главенствует ирония, что я не понимаю, почему вас понесло в историю, это ведь такая серьезная и глубокая дисциплина. Ироничен я только в реальной жизни. Мне отчего-то определенно кажется, что история – это не реальная жизнь, а так, литература, и ничего больше. Но история была реальной жизнью в те времена, когда ее еще нельзя было назвать историей. Вы уверены. Ей-богу, вы просто вопрошание на двух ногах и сомнение о двух руках. Только головы и не хватает. Всему свой черед, мозг был изобретен в последнюю очередь. Вы настоящий ученый. Дорогой мой, не надо преувеличивать. Хотите взглянуть на последнюю вычитку, которую мы называем сверкой. Да нет, пожалуй, это ни к чему, авторская правка внесена, а прочее – это рутинное корректорское дело, вам его и вверяю. Благодарю за доверие. Оно вполне заслуженно. Так, значит, вы, господин автор, полагаете, что история и реальность – это. Полагаю. Вы хотите сказать, что история некогда была реальной жизнью. Даже не сомневайтесь. Что было бы с нами, не будь изобретен значок вымарки, вздохнул корректор.

Он проснулся, когда отличие ночи от рассвета, едва обозначившись в восточной оконечности неба, заметно было бы лишь глазу, тысячекратно превосходящему зоркостью тот, что дарован природой. Муэдзин всегда, и зимой и летом, просыпался в этот час вместе с солнцем, не нуждаясь ни в каких приспособлениях для измерения времени, довольно было, чтобы почти неуловимо изменилась темнота в комнате, чтобы кожи на лбу еле заметно коснулось предчувствие света, подобное легчайшему дуновению, скользнувшему вдоль бровей, или ласке первых, почти неосязаемых прикосновений, искусством которых – тайным, не сравнимым ни с чем – владеют, как он знал или верил, одни только красавицы-гурии, ожидающие правоверных в мусульманском раю. Тайна же, а также непостижимое чудо – в том, что эти красавицы наделены волшебным свойством возвращать себе утраченную невинность, и в этой их бесконечной способности восстанавливать девственность, едва ее утратив, и заключается, надо думать, высшее блаженство жизни вечной, что со всей убедительностью подтверждает – с окончанием жизни земной не кончаются труды ни свои, ни чужие, равно как и незаслуженные страдания. Муэдзин не открывал глаз. Он позволил себе полежать еще сколько-то, покуда солнце медленно, очень медленно приближалось к горизонту, и так далеко еще было до восхода, что ни один петух не приподнял голову, чтобы не пропустить движений наступающего утра. Залаяла, правда, собака, но никто не отозвался, сородичи ее спали и, быть может, видели во сне, что лают. Это сон, думали они и продолжали спать, а со всех сторон подступал к ним мир, населенный запахами, и все они будоражили, но ни один не будил, потому что не было среди них того, который не спутаешь ни с чем, который несет в себе угрозу и внушает страх. Муэдзин поднялся, нашарил в темноте одежду, натянул ее и вышел из комнаты. Безмолвие стояло в мечети, и только гулко отдавались под ее сводами нетвердые шаги, шаркающие шаги человека, который ступал так осторожно, словно опасался, что пол разверзнется под ногами и поглотит его. Ни в один другой час дня или ночи не чувствует муэдзин такой жгучей тоски, как в этот – в рассветный час, когда собирается подняться по лестнице на минарет и призвать правоверных к первой молитве. В суеверном воображении предстает ему его тягчайшая вина и видится, как солнце уже поднялось над рекой, а жители продолжают спать, но вдруг, внезапно и грубо разбуженные ярким светом, они вскакивают и криками вопрошают, где муэдзин, отчего он не подал голос в должный час, а кто-нибудь самый жалостливый говорит: Должно быть, заболел, но нет, не заболел, а исчез, провалился сквозь землю и ушел вглубь ее по воле повелителя тьмы. По винтовой лестнице взбираться трудно, тем более что муэдзин уже стар, но, по счастью, ему не нужно завязывать глаза, как вертящим мельничный жернов мулам, чтобы голова не кружилась. Добравшись доверху, он ощутил свежесть утра и подрагивание зарождающейся зари,

еще лишенной цвета, которому неоткуда было взяться у этого чистого свечения, что, предшествуя дню, проскальзывает по коже легчайшей дрожью, подобной нежному прикосновению чьих-то невидимых пальцев, и это единственное в своем роде ощущение наводит на мысль, что божье творение в конечном счете и для вящего посрамления скептиков и неверующих – это насмешливый исторический факт. Муэдзин медленно провел рукой вдоль полукруглого парапета, нащупал выбитую на камне метку, обозначающую, в какой стороне Мекка, священный город. Теперь он был готов. Выждал еще несколько мгновений, чтобы солнце успело раскинуть по прилавкам земли первые лучи, прокашлялся, прочищая горло, ибо умение сзывать правоверных на молитву должно чувствоваться с первого же звука, сразу, а не когда глотка уже умягчена трудами говорения и отрадой еды. Город простирается у ног муэдзина, а чуть ниже – река, и всё вокруг еще объято сном, но сном беспокойным. Когда же над кровлями начинает ворочаться утро, а водная гладь становится отражением небесной тверди, муэдзин, вдохнув глубоко, испускает нестерпимо пронзительный крик: Аллаху акбар, возвещая всему свету о величии Бога, и потом снова и снова повторяет свой восторженный вопль, берет мир в свидетели того, что нет Бога, кроме Бога, и что Магомет пророк его, и, провозгласив эти основополагающие истины, призывает стать на молитву, но, будучи сам человеком по природе ленивым, хотя и свято верующим в могущество Того, Кто не спит никогда, мягко журит людей, еще не поднявших тяжелые веки: Молиться лучше, чем спать, и повторяет для тех, кто на этом языке понимает лучше: Ас-саяту хайрун минан-наум, снова возвещая, что Аллах есть единственный Бог, Ля-илиах илля Ллах, но на этот раз только один раз, ибо и одного раза довольно, когда речь идет о таких непреложных фактах. Город бормочет молитву, солнце бьет в бельведеры, и скоро во дворах появятся жители. Минарет уже освещен сверху донизу. Муэдзин слеп.

Историк в своей книге описал это не так. Он лишь упомянул о муэдзине, поднявшемся на минарет и оттуда созвавшем правоверных на молитву в мечеть, не уточняя, утром ли было дело, в полдень или на закате, а не уточняя потому, что, по его мнению, мелкие подробности не могут и не должны быть интересны истории и призваны лишь внушить читателю – автор сведущ в тогдашних реалиях достаточно, чтобы сведения его заслуживали доверия и доверие вызывали. Скажем же ему спасибо за это, поскольку сочинение его, посвященное войне и осаде и неотъемлемым от них мужеству и доблести, свободно от водянистых описаний молитвы, каковые из всех перипетий сюжета послушней всего, ибо в них предстает человек не сражающийся, а просящий милости и, значит, сразу сдавшийся. Впрочем, не оставляя без должного внимания и ту историю, которая идет вразрез с этим противопоставлением битвы и молитвы и весьма уместна, благо и дело происходило в не столь уж давние времена, и живы еще были многочисленные и просвещеннейшие свидетели, да, так вот, более чем знаменитую историю о чуде в Оурике², где Христос явился португальскому королю, крикнувшему ему, меж тем как все войско пало ниц и стало молиться: Неверным, Господи, неверным яви себя, а не мне, я-то верую в Твое могущество, однако маврам Христос явиться не пожелал, и очень жаль, что не пожелал, потому что в этом случае можно было бы внести в эти анналы не жесточайшее кровопролитие, а чудесное обращение полутораста тысяч варваров, которые при таком раскладе сохранили бы жизни и не поспособствовали бы столь чудовищному, поистине вопиющему расточительству душ. Но произошло то, что произошло, не всего можно избежать, Господь легко обходится без наших добрых советов, однако у судьбы имеются свои неколебимые законы, да порой еще и с неожиданными художественными эффектами, одним из коих сумел некогда воспользоваться Камознс, не просто испу-

² 25 июля 1139 г. на юге Португалии, в долине между городами Кастро-Верде и Оурике, португальская армия принца Афонсо Энрикеса (Альфонса I) разбила мавританское войско под предводительством Али ибн Юсуфа. С этого момента Португалия фактически уже не феодальный удел Кастилии, а независимое государство.

стивший горячечный вопль, но и уложивший его без зазоров в бессмертное полустишие³. Лишний раз подтвердилось, что в природе ничего само собой не возникает и ничего не пропадает, но все в дело идет.

Какие славные были времена прежде, когда для удовлетворения чаяний нам довольно было обратиться к высшим силам с правильно составленной просьбой, и это действовало и в самых сложных случаях, даже если страждущий, или, иначе говоря, терпящий бедствие, терпение свое готов был уже потерять вместе с надеждой на спасение. Примером может служить вышеупомянутый король, который, появившись на свет с недоразвитыми ногами, или, как сказали бы мы теперь, с атрофией нижних конечностей, чудодейственно исцелился, причем без вмешательства лекарей, ибо если даже и было оно, вмешательство, то ничему не помешало, да и не помогло. Более того, не осталось никаких свидетельств, что он, будучи, несомненно, привержен реальности, обратился к заступничеству наивысших сил, под коими мы имеем в виду Пречистую Деву и Господа, или хотя бы к покровительству ангелов шестой ступени – Престолам или, не знаю, Силам – для достижения достославной победы, как известно даровавшей Португалии независимость. А дело было так – дону Эгасу Монизу, дядьке малолетнего Афонсо, явилась Дева Мария, явилась и сказала ему: дон Эгас Мониз, ты спишь, что ли, на что он, сам не зная, во сне это все или наяву, задал наводящий вопрос: Сударыня, кто вы, а та отвечала приветливо: Пречистая Дева, и я повелеваю тебе отправиться в Каркере, что в уезде Резенде, там начать раскопки и найти некогда заложенную в мою честь церковь, а также мой образ, потом привести его в порядок, в божеский вид, ибо он после стольких лет заброса и небрежения очень в этом нуждается, а потом устрой бдение, после чего положи младенца на алтарь и знай, что в ту же секунду исцелится он и будет здоров, тебе же надлежит ходить за ним и впредь, ибо я знаю, что Сын мой намерен поручить ему сокрушение врагов веры, а это, само собой разумеется, нельзя совершить с недоразвитыми ногами. Дон Эгас Мониз пробудился в великом веселье, созвал своих людей, сел на мула и поскакал в Каркере, где приказал копать в месте, указанном Пречистой, однако никакой церкви там не нашел, что удивительно нам, а не ему, ибо в те благословенные времена и в голову бы никому не пришло усомниться в обоснованности или истинности уведомлений свыше. Объяснялось же дело тем, что не в точности была исполнена воля Пречистой, велевшей ему копать собственными руками, а он, само собой, отдал приказ рыть другим – крепостным, надо полагать, крестьянам, ибо уже в те времена существовало такое вот социальное неравенство. Возблагодарим же Пресвятую Деву за то, что она, не оказавшись щепетильно-обидчивой, снова не укоротила отросшие было ножки младенцу Афонсо, поскольку иные чудеса благо творят, а иные – зло действуют, о чем могли бы свидетельствовать те несчастные евангельские свиньи, которые кинулись в морскую пучину, когда Иисус в неизреченной доброте своей вселил в них бесов, изгнанных предварительно из тела, ими обуянного, в результате чего мученическую кончину приняли ни в чем не повинные животные, и только они, потому что несколько ранее не погиб, насколько нам известно, ни один из мятежных ангелов, ставших демонами и за это низринутых с гораздо большей высоты, и это непростительная непредусмотрительность со стороны Господа Бога нашего, который по своей беспечности упустил возможность раз и навсегда покончить со всей этой породой, а ведь недаром предостерегает поговорка: Кто милует врага, тому жизнь недорога, и дай-то бог, чтобы Ему однажды не пришлось спохватиться и раскаяться – да поздно будет. И все равно давайте, что ли, уповать, что если в тот роковой миг Он еще успеет припомнить прошлое, то просветлеет разумом и сумеет понять, что должен был бы освободить нас всех, уязвимых и хрупких свиней и людей, от тех пороков и грехов и мук неудовлетворенности,

³ Имеется в виду строчка из эпоса Луиса де Камозенса «Лузиады» (*Os Lusíadas*, 1556): «Неверным, Господи, яви себя, неверным!» («Aos infieis, Senhor, aos infieis!»).

которые, как говорят, суть дело рук Лукавого и след его присутствия. Между молотом и наковальней мы подобны куску раскаленного железа, которое остывает оттого, что очень сильно бьют его.

Ну, Священной истории пока что хватит. Теперь хотелось бы знать, кто же это так великолепно описал пробуждение муэдзина на лиссабонском рассвете, кто же уснастил описание таким множеством реалистических подробностей, что кажется, будто рассказчик своими глазами наблюдал все это или, по крайней мере, умело использовал какой-то документ той эпохи, причем не обязательно относящийся именно к Лиссабону, поскольку для произведения должного эффекта не требуется ничего, кроме города, реки и ясного утра – композиции, как видим, довольно банальной. Ответ же: Никто не описал, несказанно удивит спрашивающих, ибо все это, хоть и кажется описанием, вообще не было написано, а лишь клубилось чередой смутных образов в голове корректора, покуда он вычитывал рукопись и исправлял опечатки и ошибки, пропущенные при первой и второй корректурах. Есть у него такой примечательный дар перевоплощения, вот он ставит значок вымарки или совершенно бесспорную запятую, а сам одновременно с этим, уж извините за выражение, гетеронимизируется, обретая способность двинуться по пути, проложенному какой-нибудь картинкой, или сравнением, или метафорой, и нередко бывает так, что и самый звук какого-нибудь слова, повторенного вполголоса, побуждает его по ассоциации воздвигать полифоничные словесные громады, тысячекратно увеличивающие пространство его кабинетика, как ни трудно объяснить в простых словах, что это значит. Вот и сейчас поместилось ему, что историк напрасно ограничился столь скупым описанием муэдзина на минарете, введя, по-нынешнему говоря, так мало местного колорита в стан или лагерь – ах, вот и семантическая неточность, ибо лагерь применяется скорее по отношению к осаждающим, а не к осажденным, которые пока что с большими удобствами расположились за стенами города, принадлежащего им, пусть и с одним-другим перерывом, с семьсот сорока четвертого года, по христианскому, уточним, летоисчислению, ибо на мусульманских четках, как известно, другие бусины нанизаны. Эту поправку сделал сам корректор, обладающий более чем достаточными сведениями относительно календарей, а потому знающий, что хиджра началась, согласно книге, совершенно необходимой книге под названием Умение Проверять Даты, шестнадцатого июля шестьсот двадцать второго года от Рождества Христова, сокращенно – А. Д., причем не следует забывать, что мусульманский календарь связан с лунными циклами и, следовательно, короче того, что принят у христиан, ориентирующихся на солнце. А потому, по-хорошему-то, дотошный корректор, рукопись вычитывая, вычитает по три года из каждого прошедшего столетия, то есть норовит подрезать крылышки вольному и безответственному полету фантазии, меж тем как здесь мы видим грех содействия, если не соучастия, потворство очевидным ошибкам и сомнительным утверждениям – в данном случае вызывает большие сомнения цифра три, – каковые со всей определенностью доказывают, что автор не имел ни малейших оснований легкомысленно и необдуманно советовать корректору посвятить себя истории. А уж философии – вообще боже упаси.

Если идти от конца к началу этого фрагмента, сразу же столкнемся с распространенным заблуждением насчет того, что на каменном парапете минарета имеются некие стреловидные метки, указывающие в сторону Мекки. Сколь бы развиты ни были в ту эпоху география и агрокультура у арабов и прочих мавров, представляется весьма сомнительным и маловероятным, что они умели определять, да еще с подобной точностью, местоположение Каабы на планете, где именно камни – один другого священной – представлены в изобилии необычайном. Впрочем, все эти дела – битье поклонов, паданье ниц, коленопреклоненья, возведение очей горе или, наоборот, долу – не очень-то важны, а важно в конечном-то счете, чтобы Господь и Аллах могли читать в наших сердцах и не истолковали превратно, если по невежеству своему – своему в той же мере, что ихнему, – мы повернемся к ним спиной,

поскольку далеко не всегда пребывают они там, где быть обязывались. Неудивительно, что корректор, человек своего времени, приученный и доверять, и крепко верить знакам и меткам, поддался искушению пропустить этот анахронизм, пусть даже и – вспомним и примем в расчет муэдзинову слепоту – побуждаемый к этому милосердием. Давно уж и не нами сказано, что есть пятна на солнце и на тонком суконце, более того, именно на брюках хорошего сукна бутерброд, упавший, разумеется, маслом вниз, оставляет особенно заметное пятно, так что беда одна не ходит, и вот уж за первой ошибкой идет и вторая, вторая – и грубая, ибо если непредубежденный читатель прочел бы то, что пока еще, слава богу, не напечатано, то счел бы достоверным и точным и описание пробуждающегося муэдзина. Ошибочка, сказали мы, поскольку не упомянуто, что этот самый муэдзин, прежде чем призвать правоверных на молитву, совершил ритуальные омовения, то есть, выходит, к дальнейшим действиям приступил в состоянии телесной нечистоты, что совершенно невероятно и неправдоподобно, особенно если учесть, как близки мы в этом тексте к первоначальному истоку ислама: всего-то четыре с лишним века назад зародился он, лежит еще, можно сказать, в колыбели. Разумеется, впереди будет еще множество послаблений и потачек, вольных толкований правил, которые прежде казались ясней ясного, ибо нет ничего утомительнее, чем жесткая неукоснительность норм и законов, вот ведь и плоть еще не сдалась, а дух уж изнемог, однако с него не взыскивают, а вот ее, бедняжку, оскорбляют и поносят, на нее клеветают. Стало быть, действие происходит еще во времена веры всеобъемлющей и *безызыянной*, и уж наверно муэдзин будет последним, кто дерзнет подняться на минарет не с чистой душой и вымытыми руками, ну и, стало быть, сим возвещается всем, кому знать надлежит, что вины, по непростительному легкомыслию возведенной на него корректором, на нем нет. Несмотря на профессиональную компетентность, выказанную им, как мы слышали, в беседе с историком, сейчас самое время задуматься о том, сколь пагубные последствия может возыметь доверие, оказанное корректору автором *Истории Осады Лиссабона*, который то ли от небрежности, порожденной усталостью, то ли от хлопот, связанных с предстоящим путешествием, вверил чтение третьей корректуры исключительно попечению мастера вымарки и вставки, вверил, да не выверил. Мы содрогаемся от ужаса при одной мысли, что такое описание муэдзинова утра могло злокозненно просочиться в научный текст автора, который – текст, разумеется, но, впрочем, в неменьшей степени и автор – есть плод напряженных штудий, глубоких исследований, кропотливых разысканий, дотошно-придирчивых дискуссий. К примеру, вызывает обоснованное сомнение – хоть, впрочем, благоразумная осторожность рекомендует подвергать сомнению и само сомнение, – что историк упомянет в своем тексте собак и присущий им лай, поскольку должен бы знать, что в глазах араба собака наравне со свиньей – животное нечистое, и допустит, таким образом, вопиющее невежество, предположив на миг, что столь рьяные поклонники Пророка, как лиссабонские мавры, потерпели бы вблизи от себя псарни и своры. Будку сторожевого пса у ворот дома или плетеную корзиночку комнатной собачки измыслили христиане, и совсем даже не случайно мусульмане называют крестоносцев собаками и хорошо еще, что не свиньями, ну или, по крайней мере, об этом нет свидетельств. Совершенно очевидно, что если так оно и обстоит на самом деле, признаем с глубоким сожалением, что нельзя больше рассчитывать на милоту собаки, которая воет на луну или чешет измученное клещом ухо, но истину, раз уж мы наконец ее обрели, надлежит ставить превыше всех и всяческих соображений, подтверждает ли она их или опровергает, а потому мы были бы обязаны здесь же, не сходя с места, вымарать слова, описывавшие последний мирный рассвет над Лиссабоном, если бы не знали, что этот фрагмент текста – лживый, хотя изложенный убедительно и внятно, в чем, между прочим, и состоит главная его опасность, – существовал лишь у корректора в голове, никогда ее не покидал и был не более чем его выдумкой, столь же смехотворной, сколь и неправдоподобной.

Итак, доказано, что корректор ошибся, не ошибся, а спутал, не спутал, а навоображал себе невесть что, но пусть первым бросит в него камень тот, кто никогда не ошибался, не путал, не давал волю своему воображению. Человеку, утверждал некто понимающий, свойственно ошибаться, а из этой формулы следует, если не понимать ее буквально, что тот, кто не ошибается, как бы не вполне человек. Впрочем, подобная максима не может применяться в качестве универсальной отмазки, оправдывающей любого за кривые суждения и косые мнения. Не знаешь – смири гордыню да спроси, справься, а уж корректор и подавно не должен пренебрегать этой простейшей предосторожностью, тем более что ему и из дому не надо выходить, а потому не надо, что в кабинетике, где он сейчас работает, в изобильном разнообразии представлены книги, которые просветили бы его, прояви он благоразумие и предусмотрительность и не обманись полнотой своих познаний, от которой происходят худшие обманы, объясняющиеся уже не только невежеством. На этих сдвоенных стеллажах тысячи и тысячи страниц только и ждут искры первоначального любопытства, чтобы испустить ровный свет, так нужный сомнению, чтобы проясниться или рассеяться. Поверим, короче говоря, корректору, что за немалую жизнь собрал он многочисленные и разнообразные источники информации, хотя с первого беглого взгляда можно установить, что книг по информатике в этой гробнице как раз и нет, но ведь, к сожалению, денег на все не хватит, а его профессия – пора наконец сказать об этом прямо – одна из самых низкооплачиваемых. Придет день – если, конечно, будет на то воля Аллаха, – когда каждый издательский корректор получит в свое распоряжение компьютер, круглосуточно, будто некой пуповиной соединенный с общим банком данных, и тогда ему, как и всем нам, останется только желать, чтобы, как дьявол в монастырь, не вкралась искустельница-ошибка и в эти кладези универсальных знаний.

Но куда не пришел этот день, здесь, подобно пульсирующей галактике, живут книги, а внутри них космической пылью реют слова, ожидая, когда чей-нибудь взгляд придаст им смысл или в них отыщет новое значение, ибо точно так же, как по-разному объясняют происхождение Вселенной, так и фраза, прежде и всегда казавшаяся неизменной, неожиданно поддается новому толкованию, открывает возможность дремлющего в ней противоречия, обнаруживает ошибочность своей очевидности. Здесь, в этом кабинетике, где истина – не более чем лицо, скрывающее бесчисленное множество разнообразных личин, стоят обычные словари – двуязычные и толковые, Мораисы и Аурелиосы, Мореносы и Торриньясы, несколько грамматик, Учебник Образцового Корректора, справочник-путеводитель по этому ремеслу, но также и многотомные истории искусства, и не только искусства, а мира вообще, истории римлян, и персов, и греков, и китайцев, и арабов, и славян, и португальцев, и вообще почти всех, кто вправе считать себя отдельным народом и нацией, стоят истории науки, литературы, музыки, религий, философий, цивилизаций, Малый Ларусс, краткий Кийе, сокращенный Робер, энциклопедии – Политическая, Лузо-Бразильская, неполная Британская, Исторический и Географический Словарь, старинный Атлас Мира, составленный Жоаном Соаресом, Всеобщий Словарь Выдающихся Деятелей Современности, Всеобщий Биографический Словарь, Справочник Книгоиздателя, Словарь Античной Мифологии, Лузитанская Библиотека, Словарь Географии Сравнительной, Древней, Средневековой и Современной, Исторический Атлас Современных Исследований, Всеобщий Словарь Литературы, Искусств и Наук Моральных и Политических и, наконец, в завершение – нет, не всего каталога этой библиотеки, а лишь тех книг, что на виду, – Всеобщий Словарь Истории и Мифологии, Древней и Современной Географии, Достопримечательностей и Учреждений Греческих, Римских, Французских и Иностранных, причем не забудем еще и Словарь Редкостей, Курьезов и Невероятий, где по восхитительному совпадению приводится ошибочное утверждение мудреца Аристотеля о том, что, мол, у мухи домашней обыкновенной – четыре лапки, каковую арифметическую ампутацию авторы повторяли на протяжении мно-

гих веков, и хотя об истинном числе мушиных лапок известно даже малым детям, ибо уже давным-давно, от времен Аристотеля, с жестокостью, присущей естествоиспытателям, они эти лапки отрывают, сладострастно считая: одна, две, три, четыре, пять, шесть, те же самые дети, став взрослыми и прочитав древнегреческого философа, говорят друг другу: У мухи четыре лапки, и вот какова сила авторитета, и вот как страдает истина от него и от уроков, которые они вместе постоянно дают нам.

И пусть этот неожиданный экскурс в энтомологию докажет нам, хоть и не слишком убедительно, что корректор порой терпит за чужие грехи, а ошибки эти вовсе не им допущены, но почерпнуты из книг, которые снова и снова повторяют без проверки древние истины, и как же тут не пожалеть того, кто пал жертвой собственного легковерия и чужих ошибок. Ну да, конечно, проявляя такую снисходительность, мы применяем универсальное оправдание, уже заклеянное выше, но делаем это не без известного умысла, и ведь могло бы выйти так, что корректор, на свое счастье, усвоил бы великолепный урок, который преподавал нам Бэкон, другой философ, в книге под названием Новый Органон. Он разделил ошибки на четыре категории – *idola tribus*, или ошибки, свойственные всему роду человеческому, *idola specus*, или ошибки, присущие отдельным людям, *idola fori*, или ошибки языковые, и, наконец, *idola theatri*, или ошибки систем. В первом случае они проистекают от несовершенства чувств, от влияния предрассудков и страстей, от привычки судить на основании приобретенных идей, от нашего неутолимого любопытства, выходящего за пределы, положенные нашему разуму, от стремления находить подобия там, где их нет, или преувеличивать сходство между явлениями. Во втором – источник ошибки лежит в различиях между умами, из коих одни тонут в немых подробностях, а другие тяготеют к неоправданным обобщениям, а также – в предпочтении, которое отдаем мы одним наукам перед другими и которое склоняет нас все сводить к нашему излюбленному. В третьем случае, то есть в ошибках языковых, корень зла в том, что слова зачастую лишены смысла вовсе, или несут смысл неопределенный, или слишком легко поддаются различному толкованию, и, наконец, в четвертом случае мы имеем дело с ошибками систем, а их начнешь перечислять – не кончишь никогда. Ну ладно, да здравствует и процветает владелец этого каталога, но пусть все же во благо себе руководствуется сентенцией Сенеки, где сквозит столь подходящая к нашему времени недоговоренность: *Onerat discentem turba, non instruit*, сентенцией, которую много лет назад матушка нашего корректора, латынью не владевшая вовсе, а родным языком – с грехом пополам, перевела с незамутненным пониманием философии скептицизма: Больше чтения – меньше разумения.

Но кое-что все же уцелело от нашего перемешанного с возражениями анализа, и следует признать, что, написав – потому что все же, как ни крути, топором это не вырубить – о слепоте муэдзине, корректор не ошибся бы. Историк, только упомянувший минарет и муэдзина, должно быть, не знает, что и в те времена, и много лет спустя почти все муэдзины были слепы. А если и знает, то воображает, наверно, будто призывать к молитве – это особое призвание слепцов или что мавританские общины таким образом частично – как всегда делалось и делается по сию пору – решили проблему трудоустройства тех, кто лишен бесценного дара зрения. И допущенная одним человеком ошибка теперь неизбежно касается всех. Усвойте же – историческая истина заключается в том, что муэдзинов выбирали среди слепых, исходя вовсе не из человеколюбивых побуждений и не из принципов профессиональной пригодности, а потому лишь, что слепец не смог бы с господствующей высоты минарета вторгнуться нескромным взглядом в сокровенное пространство внутренних дворов и бельведеров. Корректор уже не помнит, откуда он узнал об этом, наверняка вычитал в какой-нибудь заслуживающей доверия книге, в которую время не сумело внести правку, а потому и может теперь настаивать, что муэдзины были слепыми, были, вот и весь сказ. Почти все. Вот только когда порой мысли его возвращаются к этому, он не может отрешиться

от сомнений, а от себя отогнать мысль о том, что людям этим, быть может, гасили свет очей, выкалывая их, как поступали – и сейчас еще поступают – с соловьями, чтобы свет этот для них не имел иного выражения, кроме звучащего во тьме голоса, их собственного или, если повезет, того Иного, умеющего лишь повторять придуманные нами слова, которыми тщимся мы выразить все: и проклятие, и благословение, все, что можно и даже что нельзя – нельзя ни выразить словами, ни назвать по имени.

А у корректора имя есть, и имя это – Раймундо. Пришла пора узнать, как зовут человека, о котором мы отзывались так нелицеприятно, если, конечно, от имени есть какой-нибудь прок, в добавление к уже полученному от прочих примет – возраста, роста, веса, морфологического типа, цвета кожи, цвета глаз, цвета волос и того, прямые они, волнистые, курчавые либо отсутствующие вовсе, тона голоса, хрипловатого или звонкого, характерных жестов, походки, – поскольку на основании опыта человеческих взаимоотношений можно утверждать, что знание и всего этого, а иногда и многого-многого другого, ничем нам не помогает, а представить, чего же нам не хватает, мы не в силах. Быть может, какой-то морщинки, формы ногтей или бровей, или толщины запястья, или давнего, невидимого под одеждой шрама – или всего лишь фамилии, которую мы пока еще не успели произнести, и вот наибольшую-то ценность имеет фамилия, в данном случае – Силва, а целиком, значит, будет Раймундо Силва, именно так, когда надо, представляется корректор, опуская второе свое имя – Бенвиндо⁴, потому что оно ему не нравится. Никто, как водится, не доволен своим уделом, это истина общеизвестная, и, казалось бы, Раймундо Силва более всего должен бы ценить свое второе имя Бенвиндо, поскольку оно точно передает то, что имелось в виду, – добро пожаловать на свет, сынок, – а вот поди ж ты, недоволен и говорит, хорошо еще, мол, что угасла традиция, в соответствии с которой над деликатным вопросом ономастики ломать голову приходилось крестным родителям, зато быть Раймундо ему очень нравится, потому что в этом имени неуловимо сквозит некое старинное велеречие. Надеялись родители, что от дамы, приглашенной в приемные, младенец в будущем унаследует толику ее достатков, и по этой причине, нарушив обычай, предписывающий называть младенца только в честь крестного отца, прибавили новорожденному и имя крестной, переведя его в мужской род. Нам ли не знать, что судьба не на все отзывается с одинаковым вниманием, но в данном случае нельзя не признать существование некой, извините, корреляции между так и не доставшимся Раймундо наследством и именем, от которого он столь решительно отбрыкивался, хотя, впрочем, не стоит усматривать прямую причинно-следственную связь между разочарованием и отвержением. И то, что на каком-то этапе жизненного пути казалось Раймундо Бенвиндо Силве мстью злопамятных Небес, ныне сделалось неприятностью чисто эстетической, поскольку, на его вкус, два рядом стоящих герундия – нехорошо, ну и еще, так сказать, этико-онтологической, потому что при своем безотрадно-разочарованном взгляде на действительность иначе как горчайшей насмешкой не мог он счесть мысль о желанности чьего-то появления в нашем мире, хоть это и не противоречит вполне очевидному факту, что кое-кому удастся в нем устроиться так и добра снискать столько, что жаловаться пожаловавшему решительно не на что.

С коротенького старомодного балкона под самой деревянной крышей с еще уцелевшими кессонами открывается вид на реку – на бескрайнее море, простирающееся от красной линии моста до болотистых низменностей Панкаса и Алкошете. Холодный туман застилает горизонт, приближает его чуть ли не на расстояние вытянутой руки, урезает панораму города с той стороны, где внизу, на середине склона, стоит кафедральный собор, и крыши домов ступеньками спускаются к буровой матово-тусклой воде, в которую порой вреза-

⁴ От *португ.* *bem vindo* – добро пожаловать.

ется белопенный след стремительного корабля, а встречные суда ползут против течения медленно, грузно, с усилием, двигаясь как бы во ртути, хотя такое сравнение уместнее было бы не сейчас, а вечером. Раймундо Силва встал сегодня позже обычного, потому что до глубокой ночи справлял свою нескончаемо тянувшуюся работу, а когда утром отворил окно, густой туман ударил в лицо – и было оно куда сумрачней, чем сейчас, в сей полуденный час, когда время должно решать, тяготить или облегчать, как говорят в народе. В блеклые размытые пятна превратились и колокольни собора, от Лиссабона мало что осталось – ну разве голоса и какие-то неопределимые звуки, переплет окна, ближайшая крыша, автомобиль в пролете улицы. Муэдзин по слепоте своей посылал крик в пространство сияющего утра – алого, а потом сразу голубого, именно такого цвета был воздух меж землей у нас под ногами и покрывающим нас куполом небес, если, конечно, мы захотим поверить несовершенству глаз, полученных по приходе в этот мир, но корректор, который сегодня почти так же слеп, лишь пробормотал с угрюмостью, присущей тому, кто не выспался и всю ночь бродил в замысловато и трудолюбиво сочиненных снах про осаду, эскадроны, ятаганы и баллисты, а проснувшись, раздражен тем, что не может вспомнить устройство этих орудий – мы говорим о баллистах, а об исполненных глубокого смысла речах тоже поговорили бы, но не поддадимся искушению забежать вперед и сейчас должны лишь пожалеть об упущенной возможности узнать наконец, что же это такое – пресловутые баллисты, как их заряжали, как из них били, потому что ведь, согласимся, нередко открываются нам в снах великие тайны, среди них не станем исключать и выигрышный номер лотерейного билета, такую вот нестерпимо-банальную обыденность, недостойную всякого уважающего себя сновидца. Еще в постели Раймундо в недоумении спрашивал себя, почему, на кой, как говорится, прах, дались ему пращи, баллисты и разного рода катапульты, из которых пуляли по крепости, тем более что никаких пуль-то в ту пору еще не было, слово это не из того времени, а ведь слова нельзя так вот запросто перебрасывать отсюда сюда, это чревато тем, что сейчас же появится кто-то и скажет: Не понимаю. Тут он снова заснул, а когда минут через десять проснулся, на этот раз с проясненной головой, откуда назойливые мысли о катапультах вытряс, но опасным образам мечей и кривых турецких сабель позволил обосноваться в душе, да, проснулся и улыбнулся в полутьме, отлично сознавая очевидную фаллическую природу этих предметов, без сомнения занесенных в его сон Историей Осады Лиссабона и пустивших там корни, внедрившихся, – а кто скажет, что мечи и сабли проникать в недра не могут, пусть вспомнит про их острия и лезвия, призванные вонзаться, втыкаться и внедряться, а еще лучше – пусть взглянет на его одинокое ложе, взглянет и все поймет. Лежа на спине, он скрещенными руками прикрыл лицо и пробормотал совсем неоригинальное: Еще один день, а муэдзин не услышал, и любопытно, каково было бы исповедовать эту религию глухому мавру, что бы ему пришлось делать, дабы не пропустить молитвы, утренней особенно, наверняка просить соседа: Во имя Аллаха, постучи ко мне в дверь со всей силы и до тех пор стучи, пока не отворю. Порок добродетели не превозмочь, но мы добродетели можем помочь.

В этом доме нет женщины. Одна, впрочем, приходит дважды в неделю, но не думайте, что вышеупомянутое одинокое ложе перестает быть таковым от этих визитов, тут предъявляются совершенно другие требования, и да будет сразу объяснено, что во утоление настоящего плотского голода корректор выходит в город, договаривается, удовлетворяется и платит, причем платит – ничего не попишешь – непременно, даже в том случае, если вовсе не удовлетворен, поскольку у этого глагола, вопреки пошлякам, не одно значение. А женщина, которая приходит к нему, называется прислугой, стирает белье, чистит и моет, убирает квартиру, варит большую кастрюлю супа – всегда одного и того же, фасолевого с овощами, – сразу на несколько дней, и не потому, что корректор не любит разнообразия, просто дань ему он отдает в ресторанах, куда время от времени, не слишком, впрочем, часто, заходит. Стало быть, женщины в этом доме нет и никогда не было. Корректор Раймундо Силва холост

и жениться не помышляет. Мне за пятьдесят, говорит он, кому я нужен, да и кто мне нужен, тем паче что всем известно – гораздо легче любить, чем быть любимым, и эта последняя реплика, этот, как принято говорить, отзвук утихшей боли, ныне превращенной в формулу, пригодную для просвещения легковверных, так вот, эта реплика вместе с предшествующим ей риторическим вопросом сказана про себя, извините за получившуюся двусмысленность, поскольку наш корректор – человек замкнутый и не станет изливать душу друзьям-приятелям, если те вообще у него есть, но в любом случае, бог даст, можно будет не приглашать их в наше повествование. Братьев и сестер у него тоже нет, родители скончались в свой срок, родня, если и осталась, рассеялась по свету, и даже когда изредка дает о себе знать, все равно почти не нарушает спокойного осознания, что ее тоже как бы и нет, радость миновала, для скорби нет достаточных оснований, и единственное, что ему по-настоящему близко, – это корректура, которую он держит, и до тех пор, пока держит, это ошибки, которые надо выловить и исправить, и еще иногда – забота, вроде бы не имеющая к нему отношения, ибо пусть об этом беспокоятся авторы, их за это лаврами и венчают, забота, сказали мы, вроде этой вот, насчет баллист и катапульт, забота, засевшая в голове и не желающая оттуда выходить. Раймундо Силва наконец поднялся, сунул ноги в *бабуши*: Туфли, домашние туфли надлежит говорить, вот христианское слово, попавшее к нам из Генуи и потерявшее у нас приставку пан, и вошел в кабинет, натягивая поверх пижамы халат. Временами прислуга заявляет вербальную ноту о необходимости вытереть пыль с книг, особенно на верхних полках, где собраны те, которые редко открываются и в самом деле покрыты черной как сажа субстанцией, неизвестно откуда взявшейся – ну не от табачного дыма же, потому что корректор давно не курит, – и, вероятно, в самом деле это пыль времен, и этим все сказано. По неведомой причине полезное начинание все никак не начнется и постоянно откладывается, что, вообразите только, никак не обескураживает его инициаторшу, в собственных глазах оправдываемую уже одним только благим намерением и повторяющую при всяком удобном случае: Я не виновата, я говорила.

Раймундо Силва ищет в энциклопедиях и словарях, в Оружии, в Средних Веках, в Осадных Машинах и находит там доступные описания вооружения того времени – и вооружения зачаточного, ибо достаточно сказать, что тогда еще не умели убивать человека с двухсот шагов дистанции, колоссальное упущение, а если под рукой на охоте не оказывалось лука или собаки, охотник должен был вплотную сближаться с медвежьими лапами, с кабаньими клыками, с оленьими рогами, и отдаленное сходство с этими весьма опасными забавами в наши дни сохранила одна только коррида, так что тореро можно признать пережитком прошлого. В этих тяжеловесных томах ничего толком не объясняется, и нет ни единой картинки, чтобы хотя бы приблизительно представить себе, что представлял собой этот смертоносный механизм, наводивший такой ужас на мавров, но недостаток сведений не в новинку корректору, который пытается сейчас докопаться и узнать, почему же катапульты назывались баллистой, и потому роется в одной книге за другой и теряет терпение, пока наконец бесценный несравненный Буйе не растолковывает ему, что в древности обитатели Балеарских островов считались лучшими лучниками во всем тогдашнем мире и в их честь получили острова свое название, ибо по-гречески *стрелять* будет *балло*, вот видите, как все просто, и самый обыкновенный корректор может прочертить этимологическую прямую, связывающую баллисту с Балеарскими островами, так что это слово, господин автор, писать следовало бы через одно л. Но Раймундо Силва править не станет, традиция создает закон, а кроме того, первая из десяти священных заповедей корректора гласит, что авторов следует по мере возможности избавлять от бремени страданий. Он поставил книгу на место, открыл окно, и вот тогда-то и ударил ему в лицо туман такой густоты и плотности, что если бы на месте колоколен кафедрального собора по-прежнему стоял минарет главной мечети, корректор наверняка не увидел бы его – так тонок, так воздушен и почти невесом был он, и если бы сейчас стало

тогда, казалось бы, что голос муэдзина летит с самых небес, прямо из уст Аллаха, вдруг решившего воздать хвалу самому себе, за что укорять Его не следует, ибо в силу того, кто Он есть, уж наверное хорошо себя знает.

Утро шло к середине, когда зазвонил телефон. Издательские интересовались, как подвигается вычитка, и сначала в трубке зазвучал голос Моники из Производственного Отдела, которая, как и все сотрудники этого подразделения, говорит в непреклонно-величественной манере, вот так примерно: Сеньор Силва, а как там дела с, слышится же: Его величество соблаговолил осведомиться, и герольды подхватывают: Отдел должен знать, как скоро сможете закончить, но эта самая Моника после стольких лет совместных трудов так и не усвоила, что Раймундо Силва терпеть не может, когда его называют просто Силвой, и не потому, что фамилия слишком вульгарна, она все же уступает приоритет Сантосам и Союзам, а потому, что ему не хватает Раймундо, и тонкую душу Моники больно ранит нелюбезность его ответа: Передайте там – к завтраму будет. Я передам, я передам, сеньор Силва, и ничего более не прибавила к сказанному, потому что трубку у нее резко, судя по всему, перехватило другое лицо: Говорит Коста. Слушает Раймундо Силва, мог бы ответить ему корректор, но лицо продолжает: Тут загвоздка в том, что корректура нужна сегодня, кровь из носу, мы тут горим синим пламенем, не сдам завтра утром в печать, все накроется не скажу чем, причем из-за корректуры. Полагаю, для книги такого типа и такого объема срок вычитки вполне приемлем. Мне плевать на сроки, мне нужен вычитанный текст, Коста повышает голос – верный признак, что где-то рядом появилось начальство в лице главного редактора или даже самого хозяина. Раймундо Силва, глубоко вздохнув, возражает: спешка при вычитке приводит к ошибкам. А задержка с выходом – к убыткам, и нет сомнения, что патрон присутствует при беседе, но вот Коста добавляет: Лучше пропустить две опечатки, чем на день задержать начало продаж, и становится ясно, что нет рядом никого из начальства – ни главного редактора, ни хозяина, потому что при них Коста никогда бы не решился так непридуманно пожертвовать качеством для выигрыша темпа: Это вопрос критериев, отвечает Раймундо Силва, но Коста неумолим: Не надо мне говорить о критериях, свои критерии я знаю, и они элементарны, завтра мне нужна вычитанная рукопись, устраивайтесь как знаете, ответственность на вас. Я уже сказал Монике, что сдам книгу завтра. Завтра ее надо отвезти в типографию. Отвезете, можете присылать за ней к восьми утра. Восемь – это слишком рано, все еще закрыто. Тогда присылайте когда хотите, некогда мне с вами беседовать – и дал отбой. Раймундо Силва привык к хамству Косты и не принимает его выходки близко к сердцу, ну да, груб, невоспитан, но не зол, и даже, в сущности, жалко Косту, который не переставая твердит о Производстве. Производство прежде всего, говорит он, производство всем вертит, да-да, авторы, переводчики, корректоры, редакторы, художники – где бы они все были без Производства, хотел бы я посмотреть, много ли им было бы проку от их умений и талантов, не будь Производства, издательство – это вроде футбольной команды, слаженность, обводочка, перепасовочка, скорость, игра головой, все хорошо-распрекрасно, но если вратарь – паралитик или ревматик, все в задницу пойдет, прощай, кубок, прощай, чемпионат, и Коста повторяет выведенную им формулу: Издательство без Производства – что команда без вратаря. И Коста прав.

На обед у Раймундо Силвы омлет из трех яиц с колбасой, благо печень еще сносит подобную погрешность в диете. Тарелка супа, апельсин, стакан вина и чашка кофе на десерт – куда же больше тому, кто ведет сидячий образ жизни. Потом он аккуратно вымыл посуду, расточая воду и жидкое мыло щедрее, чем требуется, вытер, спрятал в кухонный шкаф, как человек, тяготеющий к порядку и правилам, корректор в полном, в абсолютном смысле слова, если, конечно, какое-нибудь слово может существовать и продолжать существование, всегда неся с собой абсолютный смысл, раз уж он, абсолют, на меньшее не согласен. Прежде чем сесть за работу, Раймундо Силва выглянул узнать, как там погода, убедился, что немного

прояснело, уже становится виден другой берег реки, хотя пока еще только в виде темной линии, вытянутого по горизонтали пятна, а вот холодно по-прежнему. На столе разложены четыреста тридцать семь полос, в двести девяносто три правка уже внесена, а оставшееся не пугает, потому что у корректора в запасе еще целый вечер, да и ночь, да, и ночь, и он почи-тает своим профессиональным долгом непременно прочесть все в последний раз, прочесть насквозь, как обычный читатель, обретя наконец удовольствие и счастье от чтения свободного, вольного, отрешенного от бдительной недоверчивости, и как же прав был тот автор, что спросил однажды, как будет выглядеть Джульетта, если смотреть на нее соколиным гла-зом, и наш корректор, который в хищных своих трудах именно так и смотрит, даже если глаза устали, при последнем чтении увидит текст, как Ромео впервые увидел Джульетту – взглядом невинным и отуманенным любовью.

Впрочем, в случае с Историей Осады Лиссабона заранее знает Ромео, что поводов для восторга не найдет, хотя в предварительном и несколько извилистом разговоре с автором, посвященном ошибкам и их исправлению, Раймундо Силва и сказал, что книга ему понравилась, и не солгал. Однако что есть *понравилось*, спросим мы, между очень понравилось и не понравилось вовсе есть еще множество оттенков не очень и не слишком, и недоста-точно написать это, чтобы узнать, какую часть согласия, отрицания и вероятности содер-жит высказывание, которое необходимо произнести вслух, чтобы он, слух то есть, уловил последнее звуковое колебание, а других или себя мы обманываем или позволяем другим обмануть оттого лишь, что недостаточно внимательно прислушиваемся к сказанному. Впро-чем, признаём, что в том диалоге обмана не содержалось, и сразу стало понятно, что речь идет о чем-то бесцветном и отчужденном, и вялое: Понравилось, вымолвленное Раймундо Силвой, остыло, едва успев слететь с его уст. На четырехстах тридцати семи страницах не встретишь ни нового, неизвестного факта, ни полемической трактовки факта старого, ни впервые опубликованного документа, ни хотя бы иного прочтения. Просто еще одно повто-рение тысячу раз рассказанных и истертых от долгого употребления историй про осаду, описание местопребываний, речений и деяний августейшей особы, приход крестоносцев в Порто и их плавание до Тежу, события в День святого Петра, ультиматум осажденным, осадные работы, сражения и приступы, капитуляция и, наконец, разграбление, *die vero quo omnium sanctorum celebratur ad laudem et honorem nominis Christi et sanctissimae ejus genitricis purificatum est templum*, говорят, эти слова принадлежат Осберну⁵, который обессмертил свое имя осадой и взятием Лиссабона, равно как и историями, ему посвященными, а в переводе с латыни, в переводе, сделанном из-за плеча того, кто понимает, значат они, что в День Всех Святых нечестивая мечеть сделалась чистейшим католическим храмом, и вот теперь-то уж никогда не будет муэдзин призывать верующих на молитву, одного бога заменят на другого, а муэдзина – на колокол или колокольчик, и несказанно повезет ему, его отпустят, сказав: Да он слепой, бедняга, если крестоносец Осберн, не менее слепой от кровожадной ярости, не увидит перед острием своего меча старого мавра, который и убежать не в силах и, рас-простершись на земле, лишь дрыгает ногами и машет руками, словно пытаясь в эту самую землю уйти поглубже во всамделишном страхе, заменившем прежний, воображаемый, и ему удастся это, и это так же верно, как то, что остаться в живых, ненадолго, говорим мы, нена-долго, не удастся ни ему и никому, и будет он убит, думает корректор, как только выроют братские могилы. Время от времени, через равные промежутки долетает со стороны реки сиплый бас паровозных сирен, взрываются они с самого раннего утра, предупреждая о воз-

⁵ Осберн, или Осберт, – условно исторический персонаж, англичанин или норманн, чье имя связывается с историей завоевания португальцами Лиссабона. Предполагается, что он был одним из многих крестоносцев, пришедших на помощь португальскому королю Афонсо Энрикесу, и автором письма, называющегося сегодня *De expugnatione Lyxbonensi*, в кото-ром живо, со множеством подробностей описывается осада Лиссабона.

можном столкновении, но услышал их Раймундо Силва лишь в эту секунду – быть может, потому, что внутри него установилось внезапное и полнейшее безмолвие.

Январь, смеркается рано. В кабинетике душно и сумрачно. Двери закрыты. Спасаясь от холода, корректор укутал колени одеялом и, почти обжигая щиколотки, придвинул калорифер к самому столу. Уже понятно, наверно, что дом – старый, не очень комфортабельный, выстроен был в те спартанские, в те суровые времена, когда еще считалось, что выйти на улицу в сильные холода – наилучшее средство согреться для тех, кто не располагал ничем иным, кроме выстуженного коридора, где можно было помаршировать, разгоняя кровь. Но вот на последней странице Истории Осады Лиссабона Раймундо Силва отыщет пламенное выражение ярого патриотизма, который, наверно, сумеет признать и принять, если уж его собственный от монотонного мирного и тихого житья-бытья остыл и увял, а сейчас корректора пробивает дрожь от того единственного в своем роде дуновения, что исходит из душ героев, и вот смотрите, что пишет историк: На башне замка в последний раз – и уже навсегда – спустился флаг с мусульманским полумесяцем, а рядом со знаком креста, который всему миру возвещает святое крещение нового христианского города, медленно вознесся в голубое небо лобзаемый светом, ласкаемый ветром, горделиво возвещающий победу штандарт короля Афонсо Энрикеса с изображениями пяти щитов Португалии, ах ты, мать твою, и пусть никого не смущает, что корректор обратил бранные слова к национальной святыне, это всего лишь законный способ облегчить душу того, кто, насмешливо укоренный за наивные ошибки собственного воображения, убедился вдруг, что нетронуты оказались другие, не им допущенные, и хотя у него есть и полное право, и сильное желание покрыть поля целой россыпью негодующих *делеатуров*, он, как мы с вами знаем, этого не сделает, потому что указание на ошибки такого калибра послужит к посрамлению автора, сапожнику же надлежит судить не свыше сами знаете чего, а делать только то, за что ему платят, и таковы были последние, окончательные слова выведенного из терпения Апеллеса. Да, эти ошибки не чета той пустячной, ничего не значащей путанице с правильным обозначением баллист и катапульт, до которой сейчас нам, в сущности, мало дела, тогда как недопустимой несообразностью выглядят пять геральдических щитов – и это во времена короля Афонсо Первого, хотя они появились на флаге лишь в царствование его сына Саншо, да и тогда располагались неизвестно как – то ли крестообразно в центре, то ли один посерединке, а прочие по углам, то ли, если верить серьезной гипотезе самых весомых авторитетов, занимали все поле. Пятно, да не единственное, навсегда испортило бы заключительную страницу Истории Осады Лиссабона, во всех прочих отношениях так щедро и выразительно оркестрованную грохотом барабанов и пением труб, восхитительной высокопарностью стиля, в котором описывался парад, так и видишь, как пешие латники и кавалеристы, выстроившись для церемонии спуска флага ненавистного и подъема христианского и лузитанского, единой глоткой кричат: Да здравствует Португалия, и в воинственном раже гремят мечами о щиты, и потом церемониальным маршем проходят перед королем, который мстительно попирает на обгащенной мавританской кровью земле мусульманский полумесяц – вторая грубейшая ошибка, потому что никогда флаг с подобной эмблемой не развевался над стенами Лиссабона, и историку полагалось бы знать, что полумесяц на знамени появился столетия на два-три позже, в Оттоманской империи. Раймундо Силва занес было острие шариковой ручки над пятью гербами, но потом подумал, что если удалит их и полумесяц в придачу, случится на странице нечто вроде землетрясения, история не получит финала, достойного значительности момента, а этот урок как нельзя лучше годится, чтобы люди осознали всю важность того, что на первый взгляд кажется всего лишь куском одно- или разноцветной материи с нашитыми на нее фигурами – башнями или звездами, львами или единорогами, орлами, солнцами, серпами с молотами, язвами, мечами, ножами, циркулями, шестеренками, кедрами или слонами, быками или шапками, руками, пальмами или конями или канделябрами или черт его знает

чем еще, заплутает человек в этом музее без каталога или гида, а еще хуже, если к флагам додумаются присоединить гербы, благо это одна семейка, и вот тогда начнется нескончаемая череда лилий, раковин, леопардов, пчел, деревьев, посохов, митр, колосьев, медведей, саламандр, цапель, гусей с голубями, оленей, девственниц, мостов, воронов и каравелл, копий и книг, да, и книг тоже – Библии, Корана, Капитала, угадывайте, кто может, и из всего этого напрашивается вывод, что люди не способны сказать, кто они такие, если не соотнесут себя с чем-то еще, и это весьма основательный резон для того, чтобы оставить эпизод с обоими флагами – спущенным и поднятым, – но все же мы имели в виду, что эпизод этот – ложь и вымысел, хотя отчасти и бесполезный, а нам стыд и позор, что не набрались смелости ни вычеркнуть весь абзац, ни заменить его основательной истиной – побуждение, конечно, лишнее, но неистребимое, смилуйся над нами Аллах.

Впервые за многие годы своего дотошного ремесла Раймундо Силва не прочтет книгу сплошняком и полностью. Там, как уже было сказано, четыреста тридцать семь страниц, густо испещренных пометками, и на чтение это уйдет вся, ну или почти вся ночь, а он не готов к таким жертвам, потому что окончательно обуян неприязнью к этой книге и к ее автору, из-за которого завтра ведь читатели в невинности своей скажут, а школьники повторят, что у мухи четыре лапки, как утверждал Аристотель, а в ближайшую годовщину отвоевания Лиссабона у мавров, в две тысячи сто сорок седьмом году, если, конечно, будет еще этот самый Лиссабон и будут в нем португальцы, наверняка найдется президент, который напомнит о той высокосторжественной минуте, когда в синем небе над нашим прекрасным городом вместо нечестивого полумесяца триумфально вознеслись пять португальских гербов.

Тем временем профессиональная совесть требует от корректора, чтобы он по крайней мере просмотрел страницы, медленно скользя опытным глазом по словам и зная, что когда он изменит вот так уровень внимания, непременно обратится оно на какой-нибудь мелкий огрех, входящий в корректорскую компетенцию, заметит его, как замечаешь внезапную тень от смещенного светового фокуса, уже исчезающий образ, молниеносно ухваченный в последнее мгновение боковым зрением. Совершенно не важно, сумел ли Раймундо Силва вычитать все утомительные страницы, но стоит отметить, что он перечел обращенную к крестоносцам речь короля Афонсо Энрикеса, данную в версии Осберна и переведенную с латыни самим автором Истории, который не доверяется чужому уму, если речь о таких ответственных моментах, как ни больше ни меньше первая достоверно дошедшая до нас речь короля-основателя. Для Раймундо Силвы вся эта речь от первого до последнего слова есть чистейший абсурд, и не потому, что корректор позволил себе усомниться в точности перевода – видит бог, он не латинист, – а потому, что не может, ну вот просто не может, и все, поверить, что из уст короля, а не клирика какого-нибудь, прости господи, высокоученого лились замысловатые обороты, больше похожие на претенциозные проповеди, которые зазвучат с амвона веков шесть-семь спустя, чем на те слабые достижения в изучении языка, на котором он только-только начал лепетать. Корректор язвительно улыбается, но тут вдруг сердце его вздрагивает при мысли о том, что если Эгас Мониз был таким хорошим воспитателем, каким рисуют его хроники, и если появился на свет не только затем, чтобы отвезти калеку-младенца в Каркере или позднее отправиться босиком и с вервием вокруг шеи в Толедо, наверняка его питомцу вдосталь хватало христианских и политических истин, а поскольку движителем усовершенствования в этих науках в основном была латынь, можно предположить, что царственный мальчуган изъяснялся не только по-галисийски, как ему и пристало, но и латынью владел *квантум сатис*, то есть в пределах, достаточных для того, чтобы в свой срок продекламировать пред лицом стольких и столь образованных крестоносцев вышеупомянутую торжественную речь, ибо они в ту пору из всех языков могли объясняться с помощью монахов-переводчиков только на родном, с колыбели им внятном, и на

жалких начатках другого. Так что король Афонсо Энрикес все же, выходит, знал латынь и не должен был на высокаторжественном собрании выставлять себе замену и, весьма вероятно, сам был автором высокаторжественных слов, и эта гипотеза чрезвычайно мила сердцу того, кто лично, собственноручно и на той же самой латыни написал Историю Покорения Сантарена, как объясняет нам Барбоза Машадо в своей Лузитанской Библиотеке, сообщая еще, что в свое время хранилась она история в архиве монастыря Алкобасы, а написана была на чистых страницах Книги святого Фульгенция. Надо сказать, корректор не верит не то чтобы своим глазам, а тому, что глаза его видят, — не верит ни единому слову, дух скептицизма силен в нем, как он сам это декларировал, и, чтобы оборвать этот морок, а также отвлечься от тяготы вынужденного чтения, он припадает к чистому роднику современных источников, ищет там и обретает искомое: Я так и думал, Машадо просто скопировал, не проверяя, сочиненное монахами Бернардо де Брито и Антонио Бранданом⁶, вот так и возникают исторические недоразумения: Некто сказал, что Такой-то сказал, что Сякой-то слышал, и три этих авторитета создают историю, хотя в конце концов выясняется, что ту ее часть, которая относится к завоеванию Сантарена, написал брат-келарь из монастыря Санта-Круз в Коимбре, не оставивший векам даже своего имени и, значит, лишившийся права претендовать на приличествующее ему место в библиотеке, откуда в ином случае выкинули бы короля-узурпатора.

Теперь Раймундо Силва, в наброшенном на плечи одеяле, край которого при каждом движении волочится по полу, вслух, подобно что-то там оглашающему глашатаю, читает речь нашего государя перед крестоносцами, а речь примерно такова: Мы ведали, а теперь еще и воочию видели, что вы все — люди сильные, бесстрашные и поднаторелые в искусстве боя, и наши глаза подтверждают то, что слышали уши. И собрались мы здесь не для переговоров о том, сколько следует посулить вам, людям богатым, чтобы вы, обогатясь еще более нашими даяниями, примкнули к нам для осады этого города. Оттого что вечно не знаем покоя от мавров, нам не удастся собрать сокровищ, как не удастся и чувствовать себя в безопасности. Но поелику мы не хотим держать вас в неведении относительно наших средств, равно как и наших намерений насчет вас, заявляем, что это не причина отвергать наше обещание, ибо мы предполагаем отдать вам во власть все, чем обилен наш край. И мы можем быть совершенно уверены в одном, а именно в том, что ваше благочестие сильнее привлечет вас к этим бранным трудам и подвигнет осуществить столь великое начинание, нежели наши посулы и обещания отблагодарить вас. И ради того чтобы не пошла катавасия, не началась сумятица, не поднялся шум и чтобы все это не омрачило торжества и не заглушило бы моих речей, предлагаю вам избрать из своей среды тех, кому доверяете, чтобы совместно с ними мы, отойдя в сторону, в спокойствии и благолепии определили размер нашей грядущей признательности и решили, что именно выделим вам, а затем сообщили о своем решении всем остальным, после чего обе стороны, придя к соглашению, принесут соответствующие клятвы, установят должные гарантии и утвердят свой договор.

Не верится, что эту речь сочинил начинающий монарх, не имеющий никакого дипломатического опыта, — тут чувствуется хватка и сметка высокопоставленного церковника, может быть, даже самого епископа Порто, дона Педро Питоэнса, и, без сомнения, архиепископа Браги дона Жоана Пекулиара, которые общими и согласными усилиями сумели убедить крестоносцев, плывших по реке Доуро, свернуть на Тежу и поспособствовать отвоеванию Лиссабона, говорили же они им примерно так: По крайней мере, послушайте, какие могут быть у вас основания оказать нам содействие. И поскольку плавание от Порто до Лиссабона длилось три дня, даже тот, кто не особо богато наделен природным воображением, легко себе

⁶ Бернардо де Брито (1569–1617) и Антонио Брандан (1584–1637) — монахи ордена цистерцианцев, португальские историографы.

представит, как два прелата по дороге обдумывали и вчерне набрасывали проект, подбирали аргументы, рассыпали многозначительные обиняки и околичности, предостерегали, давали щедрейшие посулы, завороченные в благопристойную обертку умственных спекуляций, как не скупилась на лесть, без меры рассыпая ее в борозды речей своих и памятуя, что этот коварный знак обычно дает урожай сам-тысяча, даже если почва неплодородна и сеятель неумел. Раймундо Силва, воспламенясь, театральным жестом сбрасывает с плеч одеяло, улыбается невесело: Да, пожалуй, в такую речь не поверишь, такие речи больше пристали шекспировским персонажам, а не провинциальным епископам, возвращается к письменному столу и садится в изнеможении, качает головой: Подумать только, мы никогда, никогда не узнаем, что же на самом деле сказал дон Афонсо Энрикес крестоносцам, кроме: Добрый день, ну а что еще, да, что же еще, и слепящее сияние этой очевидности внезапно представляется ему просто несчастьем, он способен отринуть, ох, да не спрашивайте только, что именно и сколь многое, отрешиться от бессмертия души, если она имеется, от благ земных, если бы они у него были, лишь бы только обрести, желательно вот здесь, в той части Лиссабона, который в ту пору весь еще состоял из этой части, да, так вот, в той его части, где имеет Раймундо Силва жительство, обрести, говорю, кусок пергамента, обрывок папируса, клочок бумаги, газетную вырезку, запись на магнитной ленте или, может быть, надпись на надгробной плите – что-нибудь, словом, где сохранилось подлинное высказывание, оригинал, так сказать, пусть даже менее изящный с точки зрения искусства диалектики, нежели эта манерная его версия, где отсутствуют как раз крепкие слова, достойные произнесения по такому случаю.

Ужин был краток, а незамысловатой легкостью превосходил обед, но Раймундо Силва выпил не одну, как обычно, а две чашки кофе, чтобы отогнать сонливость, которая не замедлит предъявить свои права, упроченные полубессонной ночью накануне. В четком ритме страницы переходят из стопки в стопку, картины и эпизоды сменяют друг друга, а историк сейчас расцвел стилем изложения, описывая распрю, возникшую у крестоносцев по заслушании королевской речи и имевшую предметом вопрос, надо ли помогать нашим португальцам осаждать Лиссабон или не надо, задержаться ли там или, первоначальным планам следуя, следовать далее, в Святую землю, где в турецких окопах ждет их Господь наш Иисус Христос. Те, кого прельщала идея задержаться, утверждали, что выбить из Лиссабона нечестивых мавров, а город вернуть в лоно христианства – дело богоугодное не менее, чем освобождение Гроба Господня, а противники возражали им в том смысле, что, может, и богоугодное, да больно мелкое, не служба, так сказать, а службишка, а таким коренным, можно сказать, рыцарям, как те, что собрались здесь, пустяками заниматься не пристало, а надлежит действовать там, где ждут их наибольшие труды и трудности, там, а не в этой заднице мира, среди паршивых и шелудивых, и так надо понимать, что под одними имелись в виду португальцы, а под другими мавры, но кто есть кто, не уточнил историк, не видя, должно быть, смысла выбирать между двумя оскорблениями. Прости меня, Господи, страшно взревели воины, являя ярость словами своими и лицами, а те, кто предлагал продолжить плавание в Святую землю, утверждали, что от встречи в море с кораблями, плывущими из Испании или из Африки, и вот ведь какой вышел тут анахронизм, за который спрос должен быть только с автора, ибо какие там корабли в двенадцатом-то веке, да, так вот, добычи будет больше, нежели при взятии Лиссабона, а опасностей меньше, потому что стены его высоки, а гарнизон многочислен. Как в воду глядел наш государь Афонсо Энрикес, когда предрек, что при обсуждении его предложения поднимется страшнейшая катавасия, а слово это, будучи по национальности греческим, верно служит для обозначения скандального шума и крика и фламандцам, и болонцам, и британцам, и шотландцам с норманнами. Ну, так или иначе, противоборствующие стороны дискутировали весь Петров день, а на следующий, тридцатого то есть июня, представители крестоносцев, достигших согласия, сообщат королю, что,

мол, ваше величество, мы поможем вам во взятии Лиссабона в обмен на имущество мавров, глядящих со стен, и на предоставление иных возможностей, прямых и косвенных.

Уже две минуты смотрит Раймундо Силва – и взгляд его так пристален, что кажется рассеяннo-невидящим, – на страницу, где запечатлены эти неоспоримые и неколебимые исторические факты, но смотрит не потому, что подозревает последнюю ошибку, которая притаилась там незамеченной, какую-нибудь коварную опечатку, которая умудрилась запрятаться где-нибудь в складках местности, то бишь какого-нибудь грамматически извилистого периода, и теперь дразнит-заманивает, пользуясь тем, что глаза корректора утомлены и все его тело охвачено отупляющей истомой. А подозревать не приходится потому, что еще три минуты назад корректор был так бодр и свеж, словно принял таблетку бензедрина из своего лежащего за книгами запаса, купленного по рецепту доктора-идиота. В умопомрачении он читает, перечитывает и снова читает одну и ту же строку, а она снова и снова округло сообщает, что крестоносцы помогут португальцам взять Лиссабон. Случайно ли, по роковому ли стечению обстоятельств слова эти соединились во фразе и там обрели не только силу легенды, зазвучали дистихом, приговором, обжалованию не подлежащим, но еще и насмешливо-дразнящий тон, каким будто говорят: Если можешь, сделай из нас что-нибудь другое. Напряжение дошло до такой степени, что Раймундо Силва вдруг не выдержал, поднялся, оттолкнув кресло, и теперь в волнении ходит вперед-назад по ограниченному пространству, оставленному ему книжными полками, диваном и письменным столом, снова и снова твердя: Какая чушь, какая несусветная чушь, и, словно в подтверждение такого решительного заявления, снова берет лист, благодаря чему и мы можем теперь, отринув прежние сомнения, убедиться, что не такая уж там чушь, а очень даже вдумчиво и последовательно объясняется, что крестоносцы помогут португальцам взять Лиссабон, а доказательство того, что именно так и случилось, мы найдем на следующих страницах, там, где описываются осада, приступ, схватки на стенах, бои на улицах и в домах, исключительно высокая смертность, объясняющаяся резней и бойней, грабеж и: Скажите нам, сеньор корректор, да где же вы тут усмотрели чушь, притом еще несусветную, мы вот ошибки не заметили, нам, разумеется, далеко до вашей многоопытности, иногда мы смотрим, да не видим, однако читать все же умеем, хоть и, да-да, вы правы, конечно, не всегда понимаем прочитанное, и вы уже угадали, по какой причине, это недостатки технического, сеньор корректор, технического нашего образования, а кроме того, признаемся, нам лень заглянуть в словарь и проверить значения, ну да, сами виноваты. Чушь, чушь, стоит на своем Раймундо Силва, словно отвечая нам, я подобного не сделаю, корректор относится к своему труду серьезно, без шуточек, он не фокусник, он уважает то, что воздвигнуто в грамматиках и справочниках, он свято блюдет неписанный, но незыблемый кодекс профессиональной порядочности, он – консерватор, обязанный все влечения таить, а сомнения, если они порой возникают, хранить при себе, произносить про себя и уж давно не писать *нет* там, где автор написал *да*, и этот корректор так не поступит. Слова, только что произнесенные доктором Джекиллом, пытаются противостоят другим, которые мы еще не успели услышать, а выговорил их доктор Хайд, и нет необходимости упоминать два этих имени, чтобы понять – здесь, в старом доме в квартале Кастело, мы присутствуем при очередной схватке между чемпионом ангелов и чемпионом демонов, меж этими двумя началами, из которых состоят и на которые разделены существа, человеческие, само собой, существа, не исключая и корректоров. Раунд, как ни печально, останется за мистером Хайдом, это явствует из того, как улыбается сейчас Раймундо Силва, а улыбается он так, как никак нельзя было ожидать от него, улыбается с откровенным злорадством, и бесследно стерлись с лица его черты доктора Джекилла, и стало очевидно, что он сию минуту принял некое решение, притом решение коварное, и вот, твердой рукой сжав шариковую ручку, прибавляет к тексту на странице одно слово – слово, которого в тексте у автора нет и во имя исторической истины быть не могло, а слово это – НЕ, и теперь получа-

ется, что крестоносцы не помогут португальцам взять Лиссабон, так написано и, стало быть, это станет истиной, пусть и другой, и то, что мы называем ложью, возобладало над тем, что мы называем истиной, заняло ее место, и кто-то должен будет рассказать новую историю, любопытно было бы узнать как.

За столько лет беспорочной службы никогда Раймундо Силва не дерзал намеренно и осознанно нарушить вышеупомянутые заповеди неписаного кодекса, предусматривающего все действия – и бездействия – корректора по отношению к идеям и мнениям авторов. Для корректора, знающего свое место, автор непогрешим. И вот, к примеру, даже если над текстом Ницше работает истово верующий корректор, он победит искушение вставить – да-да, не в пример кое-каким иным своим коллегам – слово НЕ в известную фразу насчет того, что Бог умер. Ах, если бы корректоры могли, если бы не были они связаны по рукам и ногам совокупностью запретов, более всеобъемлюще-суровых, нежели статьи уголовного уложения, они сумели бы преобразить наш мир, установить на земле царство всеобщего счастья, они напоили бы жаждущих, накормили голодных, умиротворили смятенных душой, расселили бы унылых, приискали бы компанию одиноким, подали бы надежду отчаявшимся, уж не говоря о том, что несчастья и преступления они извели бы легко и просто, потому что совершили бы это, всего лишь заменив одно слово другим, а если кто усомнится в возможностях новоявленных демиургов, пусть припомнит, что именно так – словами, словами такими, а не сакральными – сотворены были мир и человек, и стали они этими, а не теми. Да делается, сказал Бог, и все немедленно сделалось.

Раймундо Силва не станет больше читать. Он измучен и лишился сил, ушедших без остатка на это НЕ, за которое он, несмотря на свою незапятнанную профессиональную репутацию, отдал чистую совесть и мир в душе. С сегодняшнего дня он будет жить ради той минуты – а рано или поздно придет она неминуемо, – когда отчета и ответа за ошибку потребует с него то ли сам рассердившийся автор, то ли неумолимо насмешливый критик, то ли внимательный читатель, отправивший письмо в издательство, а то ли даже, да и прямо завтра, Коста, приехавший забрать гранки, ибо с него вполне станется явиться за ними с видом героического самопожертвования: Сам решил заехать, всегда ведь лучше, когда каждый делает больше, чем предписывает ему долг. А если Косте вздумается пролистать гранки, прежде чем сунуть их в портфель, а если в этом случае бросится ему в глаза страница, запятнанная ложью, если удивит его появление нового слова в сверке, то есть уже в четвертой корректуре, если он даст себе труд прочесть и понять, что напечатано на странице, то мир, теперь переправленный, переживет иначе одно краткое мгновение, и Коста, поколебавшись немного, скажет: Сеньор Силва, взгляните-ка, нет ли тут ошибки, и он притворится, что глядит, и ему останется лишь согласиться: Ах, я растяпа, как же это я мог, не понимаю, как такое могло произойти, прозевал от недосыпа, что есть, то есть. И не придется рисовать значок удаления, чтобы истребить негодное слово, достаточно будет просто зачеркнуть его, как поступил бы ребенок, и мир вернется на прежнюю спокойную орбиту, и что было, то и будет дальше, а отныне и впредь у Косты, пусть и предавшего забвению странный эпизод, появится еще один повод возглашать, что Производство превыше всего.

Раймундо Силва прилег. Он лежит на спине, закинув руки за голову, и еще не чувствует холода. Ему трудно размышлять о том, что он сделал, он не может признать всю серьезность своего поступка и даже удивляется, почему же это раньше не додумывался изменять смысл книг, над которыми работал. Внезапно ему кажется, что он раздваивается, отдалается от себя самого, наблюдает за собой, и немного пугается таких ощущений. Потом пожимает плечами и отстраняет заботу, которая уже начала было проникать в душу: Ладно, видно будет, завтра решу, оставить слово или убрать. Собрался уж было повернуться на правый бок, спиной к пустой половине кровати, но тут вдруг понял, что сирена молчит – и неизвестно, как давно. Нет, я же слышал ее, произнося королевскую речь, точно помню, как между двумя

фразами сипло ревела она потерявшимся в тумане, отставшим от стада быком, что вызывает к мутно-белесому небу, как странно, что нет морских животных, способных голосами заполнить пустыню моря или вот этой огромной реки, пойду взгляну, что там на небе. Он встал, набросил на плечи толстый халат, которым зимой всегда укрывается поверх одеяла, и распахнул окно. Туман исчез, и не верилось, что и на склоне внизу, и на другом берегу скрывалось такое множество желтых и белых огней, искрящихся, дрожащих на воде светлячков. Похолодало. Раймундо Силва подумал в пессоальном⁷ стиле: Если бы я курил, закурил бы сейчас, глядя на реку, думая, как смутно все, как разное, но раз уж я не курю, то подумаю, подумаю всего лишь, как все смутно, как разное, и без сигареты, хотя сигарета, если бы я курил, сама сумела бы выразить разнообразие и неопределенность многого, вот хоть этого самого дыма, который выпускал бы сейчас, если бы курил. Корректор задерживается у окна, и никто не скажет ему: Простудишься, отойди скорее, и он пытается представить, что его нежно позвали, но задерживается еще на миг для мыслей смутных и разнообразных, но вот наконец словно его снова позвали: Отойди от окна, прошу тебя, уступает, снисходит к просьбе и, закрыв окно, возвращается в постель, ложится на правый бок в ожидании. В ожидании сна.

Не было еще восьми, когда в дверь позвонил Коста. Корректор, у которого ночь выдалась трудная, расчлененная на краткие отрезки постоянно прерывавшегося и беспокойного сна, только-только погрузился наконец в тяжелое забытие, как полагала та его часть, что находилась на уровне сознания, достаточном, дабы что-нибудь полагать, и оно, забытие это, наконец ушло, поскольку очень трудно оказалось разбудить другую часть, несмотря на звонки, которые снова и снова, в четвертый и в пятый раз сперва пронзительно настаивали на своем, а потом слились в одну трель, бесконечной продолжительностью своей наводившую на мысль о запавшей кнопке. Раймундо Силва отчетливо сознавал, что должен подняться, но не мог оставить в кровати половину или даже бульшую часть себя, а что скажет Коста, конечно, это Коста, кому же еще быть, как не Косте, полиция теперь не вламывается к нам по утрам, да, так вот, что скажет Коста, увидев пред собой лишь половину Раймундо Силвы, может быть, ту, что зовется Бенвиндо, а человек должен идти на зов в полном комплекте и не может отговариваться: Привел сюда что есть из того, что я есть, а остальное отстало по дороге. Звонок не смолкает, и Коста, наверно, уже начал беспокоиться: Отчего это такая тишина в доме, но вот наконец корректору удается крикнуть хрипло: Иду-иду, и только тогда спящая часть неохотно повиновалась. И теперь, раньше времени собранные, на нетвердых, не своих, а неизвестно чьих ногах, они доходят до двери спальни, дверь на лестницу прямо напротив, и обе можно открыть почти что одним движением, и Коста, которому явно неловко от устроенного им переполоха, говорит: Простите, и надо отметить, что он не поздоровался, однако вот и: Доброе утро, простите меня, сеньор Силва, что я в такую рань нагрянул, но граночки надо забрать, и Коста в самом деле хочет быть прощенным, ибо никак иначе умильно-уменьшительный суффикс объяснить нельзя. Да-да, конечно, говорит корректор, проходите в кабинет.

Когда – завязывая пояс, стягивая на шее отвороты халата в шотландскую клетку, выдержанную в синих тонах, – Раймундо Силва появляется вновь, Коста уже держит в руках пачку оттисков, словно взвешивает ее, и даже говорит понимающе: Ого, какой кирпич, но не листает, а лишь спрашивает не без тревоги: Большая правка, а Раймундо Силва отвечает: Нет, улыбнувшись, и, к счастью, никому не придет в голову осведомиться чему, а Коста, не зная, что обманут этим коротеньким словом, этим НЕТ, которое одним слогом одновременно и

⁷ Имеется в виду Фернандо Пессоа (1888–1935) – крупнейший португальский поэт XX в. В этом фрагменте автор имитирует характерный стиль некоторых его верлибров.

скрывает, и являет, спросил только что: Большая правка, а корректор ответил: Нет, улыбнувшись на этот раз несколько принужденно: Взгляните, если хотите, и Косту такая благожелательность удивляет, но чувство это смутно и тотчас рассеивается: Да нет, не стоит, я спешу, еду отсюда прямо в типографию, обещали отправить в печать, как только будет корректура. Корректор думает, что Косту, если бы тот все же перелистал эту стопу бумаг и наткнулся на ошибку, легко было бы убедить двумя-тремя витиеватыми фразами насчет контекста и отрицания, противоречия и видимости, связи и недетерминированности, но Коста желает только удалиться, потому что типография ждет, и он очень доволен еще одной победой Производства в борьбе со временем. Сегодня – первый день остатка твоей жизни, и Коста бы должен – кажись, это ясно – держаться сурово, показывая всем своим видом, как нехорошо, что все делается впопыхах, в последнюю минуту, надо же все-таки иметь какой-никакой запас времени, но корректор в этом своем халате из псевдошотландки, с отросшей за ночь седой щетиной, печальным контрастом уведомляющей, что на голове у него волосы крашенные, выглядит так беспомощно и жалко, что Коста, мужчина, что называется, в самом соку, хоть и принадлежит к поколению, которое сделало из сострадания посмешище, пресекает свои справедливые нарекания и едва ли не ласково достает из портфеля новую рукопись: Она маленькая, всего страниц двести, и не к спеху. Раймундо Силва принимает ее, отдавая должное и словам, и жесту, расшифровывает полутон, добавленный к звуку или удаленный из него, уши его умеют читать не хуже, чем глаза, и потому ощущает нечто вроде раскаяния за то, что обманул доверчивого Косту, который станет полномочным подателем сего безобразия – ошибки, не им совершенной, что, впрочем, бывает очень часто и случается с большинством людей, которые, закоснев в наивности, живя в ней и умирая, утверждают или отрицают чужое, однако платят за него из своих кровных, ибо премудр Аллах, а прочее суть химеры.

Удалился Коста, довольный удачным началом дня, а Раймундо Силва пошел на кухню готовить себе кофе с молоком и тосты с маслом. Тосты для этого человека, так свято придерживающегося принципов и норм, – это едва ли не разнузданно-порочное, но истинное проявление нетерпимого гурманства, которое сочетает в себе множество ощущений, как тактильных, так и зрительных, обонятельных и вкусовых, ощущений, начинающихся с блеска хромированного аппарата, с шелеста лезвия, нарезающего ломтики, с запаха поджаренного хлеба, с тающего масла – и завершающихся совокупным невыразимым наслаждением рта, нёба, языка, зубов, к которым приникает румяно-поджаристая хрустящая мякоть, снова ода-ривающая ароматом, но на этот раз – уже исходящим из ее нутра, и, наверно, живым на небо взят был тот, кто изобрел такой изыск. Раймундо Силва однажды произнес последние слова вслух, в тот миг, когда ему показалось, что в самую кровь проникло ему совершенное творение огня и хлеба, от которого, кстати, он мог бы отказаться без малейшего неудовольствия, не говоря уж о масле, вообще совершенно излишнем, хотя полным глупцом надо быть, чтобы отвергнуть то дополнительное, что, будучи добавлено к основному, удваивает его аппетитность и вкус, и именно так обстоит дело с маслом, намазанным на поджаренный хлеб, и так же обстояло бы дело, например, с любовью, если бы корректор был шире осведомлен в этой области. Раймундо Силва доел, отправился в ванную мыться, бриться, приводить себя в порядок. Когда не водит бритвой по намыленному лицу, старается не смотреть в зеркало и сегодня жалеет, что начал краситься, ибо стал пленником собственных ухищрений, и сильнее неудовольствия от собственной физиономии гнетет его боязнь того, что если бросит краситься, седина – а она есть, он это знает – нагрянет внезапно, вторгнется бурно, в один миг отменив медленную постепенность естественного процесса, который он по глупой суетности решил однажды прервать. Все это мелкие невзгоды духа, за которые должно платить тело – уж оно-то ни в чем не виновато.

В кабинете, чтобы получить представление о новой работе, Раймундо Силва заглядывает в оригинал, оставленный ему Костой: дай бог, чтобы это оказалась не полная История Португалии, где в изобилии найдутся новые искушения ДА и НЕТ или еще более обольстительного ВЕРОЯТНО, не оставляющего ни камня на камне, ни факта на факте. Но это всего лишь роман – один из многих, – и можно не заботиться о том, чтобы вставить в него и так уже имеющееся, потому что книги такого рода и заключенные в них вымыслы пишутся с постоянным сомнением, не мешающим упорству утверждений, с беспокойством, проистекающим от сознания того, что все там неправда, а надо притворяться, что нет, по крайней мере время от времени, пока не сможем сопротивляться неистребимой очевидности перемены, и тогда она уходит в прошлое или прошедшее время, ибо только его и можно назвать настоящим, простите, истинным временем, и тогда мы пытаемся восстановить миг, когда-то нами непознанный, миновавший, пока мы восстанавливали другой, и так до бесконечности, миг за мигом, и все романы – лишь эта отчаянная, заведомо обреченная попытка сделать так, чтобы прошлое не было потеряно полностью и навсегда. Вот только пока еще не установлено окончательно, роман ли не дает человеку забыться или невозможность забвения заставляет писать романы.

У Раймундо Силвы есть здоровая привычка по окончании большой работы давать самому себе выходной. Это как слабительное, говорит он и спускается из дому в мир, прогуливается по улицам, задерживается на выставках, присаживается на лавочку в сквере, забывается на два часа в кино, заходит в музей, чтобы по внезапно возникшей неотложной надобности в очередной раз увидеть какую-нибудь картину, одним словом, ведет себя как человек, который ушел в гости и не скоро вернется. Впрочем, он не всегда выполняет всю программу целиком. И часто приходит домой еще в середине дня, не чувствуя ни усталости, ни досады потому лишь, что послушался внутреннего голоса, с которым спорить не стоит, а дома ждет его очередная книга – неизменно ждет, поскольку издательство, высоко ценя его и уважая, никогда до сей поры не оставляло без работы. После стольких лет этой монотонной жизни он и поныне не утерял любопытства – какие же слова ждут его, какой конфликт, какая идея, какое мнение, какая несложная интрига, и именно так было с Историей Осады Лиссабона, и это неудивительно, ибо со школьных времен ни случайно, ни по собственному желанию не интересовался он такими отдаленными эпизодами.

На этот раз, однако, Раймундо Силва предвидит, что вернется домой поздно, может быть, даже пойдет на последний сеанс в кино, и не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться – он желает быть подальше от Косты, когда тот обнаружит ошибку, или, по крайней мере, оставаться в статусе недостижимости подольше, поскольку одновременно предстает и главным злодеем, и соучастником – как автор он ошибся, как корректор – ошибку не исправил. Меж тем уже почти десять, и в типографии уже, наверно, готовы первые полосы, и метранпаж размеренными и точными движениями, которые отличают истинного профессионала, сейчас приступит к набору, и вот-вот из машины полетят страницы, рассказывающие лживую Историю Осады Лиссабона, а еще через несколько минут, наверно, зазвонит телефон – странно, что еще не зазвонил, – и в трубке раздастся крик Косты: Необъяснимая ошибка, сеньор Силва, счастье, что успел поймать, хватайте такси, приезжайте немедленно, это ваша вина, нет-нет, по телефону такие вопросы не решаются, требую вашего личного присутствия, при свидетелях, и у Косты от волнения срывается голос, а Раймундо Силва, взволнованный столь же сильно или еще сильнее, бессильно влачась за разыгравшимся воображением, начинает торопливо одеваться, подбегает к окну взглянуть, что там за погода, а там холодно, но ясно. На том берегу дымы из труб сперва тянутся к небу вертикальными столбами, но под порывом налетевшего ветра обращаются в облако, медленно ползущее к солнцу. Раймундо Силва опускает взгляд на крыши, покрывающие древнюю землю Лиссабона. Он стоит, опершись о перила, чувствует шершавый холод железа и сейчас спокоен,

просто смотрит, ни о чем не думает, и в этот миг в пустое пространство всплывает мысль о том, как же все-таки получше провести свободный день, сделать то, чего не делал никогда в жизни, ибо не имеют права сетовать на быстротечность ее те, кто не сумел использовать данное им.

И ушел с балкона, и прошел в кабинет, и нашел среди бумаг в шкафу первую корректуру Осады, она, так же как вторая и третья, остается у него, в отличие от оригинала, который после редактуры хранится в издательстве, положил оттиски в бумажный мешок, и тут зазвонил телефон. Раймундо Силва вздрогнул, левая рука по привычке сама собой дернулась было взять трубку, но он остановил ее на полдороге – этот черный предмет есть готовая взорваться бомба с часовым механизмом, гремучая змея, подобравшаяся для броска. Медленно, словно опасаясь, что его шаги услышат там, откуда звонят, корректор отходит, бормоча: Это Коста, и ошибается, и никогда не узнает, кто же звонил ему в этот утренний час, кто и зачем, и Коста не скажет ему через несколько дней: Я вам звонил, но никто не подошел, и никто другой – а интересно бы знать, кто именно, – не повторит это заявление: Как жаль, у меня была для вас такая отрадная новость, звонил-звонил, да все без толку. Это правда, телефон звонит и звонит, но Раймундо Силва не возьмет трубку, он вообще уже в коридоре и готов к выходу, после стольких сомнений и терзаний придя к выводу, что это, наверно, кто-то ошибся номером, бывает, а так ли это, мы как раз и не узнаем, это ведь всего лишь предположение, хоть и хочется, конечно, подтвердить гипотезу, призванную внести успокоение в душу корректора, о каковом успокоении сболтнули мы сдуру, ибо оно в данных обстоятельствах всем и во всем подобно будет несколько преждевременному облегчению от полученной отсрочки, да минует меня чаша сия, как сказал некогда некто, да, отсрочки, которая ничего, в сущности, не отсрочит.

Спускаясь по узкой и крутой лестнице, думает Раймундо Силва, что все же есть еще время разминуться с неприятностью, которая последует непременно, как только вскрыется его опрометчивый поступок, – достаточно лишь взять такси и примчаться в типографию, где наверняка еще сидит Коста, безмерно довольный, что подтвердил в очередной раз свою высокую эффективность, главную свою особенность, ведь Коста как начальник Производства обожает сам приезжать в типографию, чтобы дать, так сказать, разгон, и вот этим делом будет он, без сомнения, занят, когда с криком: Стойте, постойте, остановитесь, ворвется туда Раймундо Силва, уподобляясь какому-то романному гонцу, который, шпоря взмыленного коня, влетает на площадь и успевает в самую последнюю минуту объявить о королевском помиловании, боже, какое счастье, но ведь, согласимся, радоваться особенно нечему, казнь не отменяется, а всего лишь откладывается, хотя, конечно, как говорится, бездна пролегла между мыслью о неизбежности смерти и расстрельной командой перед глазами, и лучше всех понимает эту разницу тот, кто раньше спасся чудом, а теперь в смертельном ужасе осознает, что надежды нет, и Достоевскому, увернувшемуся в первый раз, во второй – не вывернуться. На улице, при ясном и холодном свете, Раймундо Силва словно бы еще раздумывает, каковы же, в конце концов, его намерения, но раздумье это притворно, это всего лишь видимость. Корректор разыгрывает для себя самого сцену дискуссии с заранее предпрешенным итогом, и здесь самое время прозвучать старинному правилу непреклонных шахматистов: Тронута – хожено, дорогой мой Алехин, что я написал, то написал⁸. Раймундо Силва глубоко вздыхает, оглядывает ряды домов слева и справа со странным ощущением владычества над всем этим, включая и землю у себя под ногами, что особенно странно для человека, не имеющего благ земных и надежды обрести их в будущем, ибо навеки похоронено, если и было когда-то живо, иллюзорное наследство крестной Бенвинды, царствие ей небесное, если обеспечат его молитвы других наследников, законных и благодетельство-

⁸ Ин. 19: 22, слова Понтия Пилата.

ванных, эгоистичных не в большей и не в меньшей степени, нежели велит их порода, а она у них одна повсюду. Дело, однако, в том, что корректор, который живет в этом примыкающем к замку квартале страшно сказать, со счета можно сбиться, сколько лет, и никогда ничего от него не хотел, кроме крепкого ощущения, что он – дома, сейчас испытывает, кроме уже упомянутого удовольствия нового собственника, какое-то вольное, нестесненное наслаждение, и неизвестно, продлится ли оно за ближайшим углом, когда он свернет на тенистую улицу Бартоломеу де Гусмана. И, шагая по ней, он спрашивает себя, каким это ветром надуло ему такую уверенность, если хорошо известно, что над ним висит дамоклов меч, принявший форму письма о прекращении сотрудничества по более чем оправданным причинам, а именно некомпетентности, преднамеренному введению в заблуждение, подстрекательству к извращениям. Он задает себе вопрос и мысленно получает ответ относительно допущенной им ошибки, не ошибки как таковой, а ее вполне очевидных последствий, то есть Раймундо Силвой, находящимся сейчас как раз там, где был некогда мавританский город, от этого совпадения, исторического и топографического, овладевает сложное, многообразное, калейдоскопическое какое-то ощущение, полученное, несомненно, благодаря его формальному решению, что крестоносцы не станут помогать португальцам, и пусть, значит, те корячатся сами, справляются собственными и весьма скудными национальными силами, если, конечно, их уже можно счесть таковыми, притом что всего лет семь назад они, несмотря на помощь другого крестоносного воинства, расшибли себе лоб о стены твердыни, а вернее, даже и близко не подошли под ее стены, остановившись в окрестностях, где разоряли сады и огороды и по-иному безобразничали насчет чужой частной собственности. Ну, все эти мелкие соображения имеют своей единственной целью прояснить читателю – хотя очень трудно допустить это при свете грубой реальности, – что для Раймундо Силвы, впредь до особого распоряжения или пока Господь наш не распорядится иначе, Лиссабон продолжает оставаться мавританским, поскольку – уж потерпите повторение – еще и суток не минуло с той роковой минуты, когда на просьбу помочь крестоносцы ответили обескураживающим отказом, а самим португальцам за столь краткий срок не решить сложные тактические и стратегические вопросы блокады, осады, приступа и битвы – будем надеяться, что длительность этих действий в надлежащее время пойдет в убывающем порядке.

Вполне очевидно, что кондитерской Грасиозы, куда входит корректор, не было здесь в тысяча сто сорок седьмом году, где мы с вами сейчас пребываем под великолепным июньским небом, пышущим зноем, несмотря на свежий ветерок с моря. Так уж повелось от века, что нет места лучше, чем кафе, чтобы узнать новости, посетители обычно не спешат, а поскольку квартал не очень аристократический и здесь все друг друга знают, а повседневное близкое общение свело до минимума предварительные подступы к нему, исключая, разумеется, самые простые формулы вроде: Добрый день, Как поживаете, Все ли хорошо дома, которые люди произносят, не обращая особого внимания на вопросы и ответы, естественным порядком переходя вслед за тем на дневные заботы, все без исключения разнообразные и серьезные. Город меж тем полнится хором стенаний, и вбегают люди, отогнанные войском Ибн Арринке по прозвищу Галисиец, чтоб его Аллах испепелил и низверг в самую глубокую преисподнюю, и плачевен вид этих несчастных, залитых кровью, плачущих и вопящих, и у многих вместо рук обрубки, а у других откромсаны уши или нос – это предупреждение, сделанное португальским королем. Сдается мне, говорит хозяин кафе, что морем скоро придут крестоносцы, будь они прокляты, слух прошел, идет двести кораблей, так что дела наши хуже некуда, это ясно. Ах, бедняжки, говорит, утирая слезу, какая-то толстуха, я только что от Железных ворот, там прямо скопище несчастий и бедствий, врачи с ног сбились, не знают, куда кидаться, у иных вместо лица – каша кровавая, видела одного с выколотыми глазами, ужас-ужас, да падет на убийц меч пророка. Падет, не сомневайтесь, говорит от стойки молодой человек со стаканом молока, если наша рука будет его держать, Мы не сдадимся,

говорит хозяин, семь лет назад тоже вот нагрянули к нам португальцы и крестоносцы, да ни с чем убрались, Ну да, поворачивается к нему молодой человек, утирая губы тылом кисти, но Аллах не помогает тем, кто сам себе не помогает, и я хотел бы знать, почему их корабли уже шесть дней стоят на якорях, а мы до сих пор не напали на них, не пустили ко дну, Какое справедливое было бы воздаяние, отвечает толстуха, за наши страдания. Нет, не справедливое, говорит молодой человек, в отместку мы всегда брали не меньше чем сотню за одного. Но мои глаза – как мертвые голубки, что никогда не вернутся к своим птенцам, говорит муэдзин.

Раймундо Силва вошел и поздоровался, ни на кого не глядя, уселся за столик возле витрины, где был прельстительно выставлен обычный ассортимент яств – пирожные со взбитыми сливками, кексы, слойки, пирожки, рожки и рогастики, крендельки, бисквиты, именуемые также *иезуитами*, и неизбежные круассаны, получившее такое название потому, что именно так по-французски будет полумесяц или, если угодно, прибывающая луна, которая после первого же укуса станет луной убывающей и будет все убывать и убывать, пока не останутся на тарелке лишь крошки ничтожнейших небесных тел, и, когда, послушив палец, Аллах положит их в рот, все заполнится наводящей ужас космической пустотой, если, конечно, можно совместить пустоту и наполненность. Человек за стойкой – не хозяин, а буфетчик – прерывает процесс протираания бокалов и подает кофе, заказанный корректором, которого знает, хотя тот не входит в число завсегдатаев и, значит, в эти двери входит лишь иногда, и каждый раз кажется, что пришел заполнить случайно образовавшуюся лакунку, но сегодня вроде бы не торопится и достает из бумажного пакета толстую папку, а из папки – пачку разрозненных листов, буфетчик же ищет, куда бы поставить чашечку и стакан с водой, положить пакетик сахару на блюдце, и, прежде чем удалиться, в который уж раз за сегодняшнее утро высказывается насчет холодов: Но слава богу, хоть тумана нет, встречается такой улыбкой, как если бы посетитель услышал приятнейшее известие: Это правда, слава богу, хоть тумана нет, но толстуха за соседним столом, запивающая галлоном светлого свой наполеон, сообщает, что согласно прогнозу – она имеет в виду прогноз погоды – весьма вероятно появление тумана во второй половине дня, кто бы мог подумать, небо сейчас так ясно, и солнце блещет так ярко, и это поэтическое наблюдение, которое уж наверно принадлежит не ей, просто невозможно не вклеить сюда. Погода, как и фортуна, переменчива, говорит корректор, сознавая, какую глупость говорит. Не отвечает человек за стойкой, не отвечает женщина за столиком, и это, конечно, самое мудрое, что можно сделать, столкнувшись с такими категорическими сентенциями, – выслушать их и промолчать, дожидаться, когда время, разбив их на куски, сделает, быть может, еще более категорическими, как изречения древних латинян и греков, тоже, впрочем, в свой срок обреченные на забвение. Буфетчик вновь взялся перетирать бокалы, посетительница – доедать свой наполеон, и очень скоро уже, потихоньку, потому что это неприлично, намусленным указательным пальцем начнет одну за другой собирать крошки с тарелки, но собрать их все ей не удастся, потому что – мы это знаем по собственному опыту – крошки этого лакомства подобны космическим пылинкам, они бессчетны и несметны, как капельки тумана, который не рассеется никогда. В этой кондитерской сидел бы и молодой человек, если бы его не убили на войне, ну а насчет муэдзина не стоит больше напоминать, что мы ведь с вами узнали, как он окончил свои дни – от милосердного испуга при виде крестоносца Осберна, пусть и не того, который надвигается на него и заносит над ним меч, обгаренный свежей кровью, да смилуется Аллах над детьми своими – хоть и своими, а все равно несчастными.

Раймундо Силва, пока пил кофе, отыскивал в гранках интересовавшие его места – нет, не речь короля, не эпизоды битвы, он потерял всякий интерес к проблеме баллист и ничего не хочет знать о капитуляции и разграблении города. Вот уже и нашел, что искал и что было заложено полосками бумаги, и теперь внимательно перечитывает, отмечая самое главное желтым светящимся маркером. Толстуха с недоверчивым уважением смотрит на его непо-

стижные уму действия и потом вдруг, совершенно неожиданно и вне прямой причинно-следственной связи между чужими эволюциями и собственными мыслями, торопливо собирает крошки в кучку, сгребает ее, сложив пять пальцев щепотью, уминает и отправляет в рот с истонным стоном наслаждения. Звук этот отвлекает Раймундо Силву, и он смотрит на соседку искося и осуждающе и, конечно, думает, что регрессивное искушение – постоянное свойство рода человеческого, и манера короля Афонсо Энрикеса есть руками есть примета времени, хотя уже заметны кое-какие новации, и кусок мяса порой уже подносится ко рту на острие ножа, и теперь не хватает нам только человека, которого осенит приделать к острию этому зубчики, а впрочем, можно ничего не изобретать, а всего лишь устремить задумчивый взор на вилы с неструганным деревянным держакон, какими добрые поселяне сгребают, скирдуют и переваливают на телеги сжатые пшеницу и ячмень, и недаром опыт учит нас, что ни за что не продвинешься ни в искусстве, ни в жизни, если позволишь себе замкнуться в придворных роскошествах. Однако этой вот толстой посетительнице кондитерской прощенья нет, сколько трудов родители положили, чтобы научить ее вести себя за столом, а она вон что себе позволяет, быть может взыскую первобытной простоты прежних нравов, одинаково грубых что у мавров, что у христиан, с чем согласятся далеко не все, ибо многие утверждают и тшятся доказать, будто главный вклад в цивилизацию внесли поклонники пророка, а вот другие были сущими дикарями, радостно косневшими в твердолобом своем упрямстве и только-только начинавшими расчесывать зудящую сыпь приличий, но все переменялось в тот день, когда душу им воспалило исступленное поклонение Пречистой Деве, такое неистовое, что оттеснило немного даже культ Сына Ее, не говоря уж о том оскорбительном пренебрежении, с каким в повседневном обиходе обходятся с Предвечным Отцом. И вот вам наглядное свидетельство, как естественно и без усилия, легко скользя с предмета на предмет, можно подняться от пирожного *наполеон*, скушанного посетительницей кондитерской Грасиозы, к Тому, Кто сам в еде не нуждается, но в нас, будто в насмешку, вселяет тысячи желаний и потребностей.

Раймундо Силва сует в бумажный мешок гранки Истории Осады Лиссабона, оставляя четыре выбранные им полосы, а их складывает и бережно прячет во внутренний карман пиджака, потом направляется к стойке, где наливают стакан молока молодому человеку, по лицу которого нетрудно прочесть, что, во-первых, он ищет работу, а во-вторых, предвидит, что ничего существенного ему сегодня не светит. Корректор – наблюдатель в должной мере опытный и чуткий, чтобы с одного взгляда считать информацию, информацию – считать, а содержимое ее – счесть исчерпывающим, и мы даже вправе предположить, что когда-то в зеркале у себя дома он видел такие, то есть свои собственные, глаза, об этом можно было бы и не упоминать, а тем более не надо спрашивать его, так ли это, поскольку нас больше интересует его настоящее, а из прошлого – разве что воспоминание, гораздо меньше принадлежащее ему, чем та его часть, которая изменена словом неуместным и опрометчивым. Что ж, посмотрим теперь, далеко ли нас заведет оно, нас и в первую голову, разумеется, Раймундо Силву, поскольку слово, любое, всякое и каждое, обладает способностью, свойством или достоинством вести сначала того, кто произнес его, а потом, быть может – быть может, сказали мы, – и нас, идущих за ним следом, как след ведет легавую, и признаем, что соображения эти явно обнародованы прежде времени, если осада города еще даже не началась и мавры, входя в кондитерскую, возглашают хором: Победа будет за нами, оружие наше будет счастливо, что же, не исключено, однако для этого нужно, чтобы Магомет помог, напрягши все силы и умения, ибо здесь оружия мы не видим, да и в арсенале его, как передает народная молва, а ведь глас народа – глас Божий, недостаточно по отношению к потребности в нем. Раймундо Силва сказал буфетчику за стойкой: Можно я у вас оставляю этот пакет, заберу перед закрытием – кондитерской, имелось в виду, и тот прячет бумажный пакет у себя за спиной, между двух керамических ваз с конфетами: Будьте покойны, здесь

его никто не тронет, и ему даже в голову не приходит спросить, почему бы Раймундо Силве не оставить пакет у себя дома, благо дом этот – в двух шагах, на улице Милагре-де-Сан-Антонио, сразу как за угол завернешь, однако служащие в кондитерской, вопреки расхожему мнению, люди скромные, с христианским терпением слушают ходящие по городу слухи и сплетни, слушают день и другой и всю жизнь и уже устали от этого однообразия, и хотя, конечно, по долгу профессиональной вежливости и чтобы не огорчать посетителя, который есть основа их бытия, изображают внимание и интерес, сами обычно думают о другом, и чем бы мог заинтересовать этого, например, буфетчика ответ корректора, дай он его: Боюсь, что телефон зазвонит. Молодой человек доел кекс и теперь незаметно полощет молоком рот, избавляясь от налипших меж зубов и на десны крошек, бережливость лучше богатства, учили нас предки, но эта возвышенная мудрость не снискала им преуспевания, и, насколько нам известно, не она стала причиной многожды оплаканных достатков крестной Бенвинды, упокой, Господи, ее душу, если можешь, конечно.

И хорошо сделал буфетчик, что не прислушался к толкам и слухам. Ибо отлично известно, что в случаях роста международной напряженности прежде всего теряет стабильность и начинает хиреть туризм. И если бы ситуация тут, в Лиссабоне, в самом деле ухудшилась и если бы осада и штурм и вправду были бы неизбежны, не приезжали бы сюда туристы – эти вот, первые с утра, на двух автобусах, один из которых гружен японцами, очками и фотокамерами, а второй – куртками-анораками и штанами цвета американского флага. Экскурсоводы-переводчики строят их в две отдельные походные колонны и ведут вверх по склону, они войдут через улицу Шау-де-Фейра, через ворота с нишей Георгия Победоносца, полюбуются на святого воителя и дракона, жуткого, но смехотворно маленького, на взгляд японцев, привыкших к чудовищам сверхъестественных размеров. Что же касается американцев, то им нестерпимо унижительно было бы признать, что поистине жалок заарканивший теленка ковбой с Дикого Запада по сравнению с непобедимым воителем в серебряных доспехах, пусть даже в последнее время стали возникать подозрения, что от новых битв он отказывается, а греется исключительно в лучах былой славы. Туристы уже втянулись в улицу, и она внезапно притихла, хочется даже написать – впала в дремотную негу, если бы слово это, неминуемо вызывающее в душе и теле ассоциацию с томлением раскаленного лета, не звучало бы так неуместно в холоде сегодняшнего утра, хотя и в самом деле – город нежится в покое, а люди движутся так плавно. Отсюда, за колокольнями кафедрального собора, под этим углом невидимыми, виднеется река, и, несмотря на расстояние, можно ощутить ее безмятежность и даже различить пульсацию чаячьих крыльев над сверкающей стремниной. Если бы и в самом деле там стояло пять кораблей с крестоносцами, они бы уже начали бить из пушек по беззащитному городу, но этого не случится, поскольку нам хорошо известно, что со стороны реки маврам ничего не угрожает, сказано ведь и пересказано и записано для пущей убедительности и вящей достоверности, что в данном случае не могут португальцы рассчитывать на содействие тех, кто пристал к берегу всего лишь пополнить запасы воды и отдохнуть от трудов и тягот мореплавания, от штормов и бурь, прежде чем продолжить путь, цель которого – вырвать у неверных не заурядный город вроде этого, а ту бесценную почву, что некогда ощущала на себе тяжесть Бога и по сию пору там, где никто и никогда не пройдет больше, хранит не тронутые ни дождем, ни ветром отпечатки божественных босых ступней.

Раймундо Силве, когда он свернул на улицу Милагре-де-Сан-Антонио и проходил мимо своего дома, на миг почудился телефонный звонок – оттого, наверно, что он полубессознательно ловил окружавшие его звуки. Это мне звонят, подумал корректор, но звук был слишком близок, наверно, это из парикмахерской напротив, и в ту же секунду представился ему еще один вариант возможного развития событий – какая с его стороны была идиотская непредусмотрительность, как глупо было считать, что Коста начнет первым делом терзать

телефон: Да, может быть, он уже тут, и воображение в тот же миг услужливо нарисовало ему, как пышущий яростью Коста, рыча мотором, летит вверх по улице Лимоейро, как визжит шинами на повороте у собора и, если только не спрятаться куда-нибудь, скоро возникнет у подъезда, скажет, запыхавшись: Поднимайтесь, поднимайтесь, у меня к вам очень серьезный разговор, нет, здесь нельзя, Коста ведь, как бы то ни было, культурный человек, на улице скандал устраивать не станет. Корректор больше не ждет и торопливо спускается по Эскадиньяс-де-Сан-Криспин и, завернув за угол, тревожно всматривается – не показался ли Коста. Присев на ступеньку, чтобы отойти от пережитого страха, он отгоняет приبلудного пса, вытянувшему к нему морду и ловащего запахи, а потом достает из кармана листы набора, разворачивает их, разглаживает на коленях.

Идея, которая возникла, когда он с балкона глядел на крыши, ступенями спускающиеся к реке, заключается в том, чтобы пройти вдоль мавританской стены, руководствуясь сведениями господина автора – сведениями скудными и мало достоверными, в чем тот сам имел мужество признаться. Но здесь и сейчас перед глазами Раймундо Силвы как раз фрагмент этой стены, если не вся она во всей целокупности, а та ли это стена или другая – вопрос другой, но, по крайней мере, нынешняя занимает точное место тогдашней и спускается вдоль ступеней под вереницей широких окон, над которыми высятся щипцы крыш. Раймундо Силва, значит, уже находится за городской чертой, он принадлежит теперь к войску осаждающих, и не хватает лишь, чтобы одно из этих окон распахнулось и выглянувшая оттуда юная мавританка исполнила: Нами Лиссабон любим, Вышней волею храним, Пропадешь, христианин, и допев, со стуком, означающим презрение, захлопнула бы створки, но, если глаза не обманывают корректора, муслиновая занавеска задернулась неплотно, и этого хватило, чтобы развеять угрозу, содержащуюся в словах, понимаемых буквально, вполне ведь может статься, что Лиссабон, вопреки тому, каким кажется, не городом окажется, а женщиной, а пропажу надо истолковывать в смысле всего-навсего любовном, если, конечно, ограничительное наречие уместно здесь, ибо это ли не единственная возможность пропасть счастливо. Снова приблизился пес, и теперь Раймундо Силва глядит на него подозрительно, не бешеный ли, где-то вычитал он, а где – уж и не помнит, что один из признаков этой ужасной болезни – поджатый хвост, а здесь хвост, хоть, впрочем, и отставлен, но виляет тоже не больно-то бодро, но это, скорее всего, от трудной жизни, о которой можно судить по торчащим ребрам, а еще один симптом, решающий симптом, а именно зловещая слюна, бегущая из пасти, капающая с клыков, – у этой дворняги объясняется тем, что здесь, на Эскадиньяс-де-Сан-Криспин, очень вкусно пахнет съестным в процессе приготовления. Однако успокоимся – собака не бешеная, во времена мавров, может, и стоило бы опасаться, но не сейчас же, не в этом современном, чистом городе, упорядоченном до такой степени, что удивительно и само появление бродячей собаки, а спасла ее от сетей, вероятно, привычка ходить этой полузаброшенной и запущенной дорогой, требующей резвых молодых ног и легкого отроческого дыхания, каковые качества не всегда присущи собаководам.

Раймундо Силва сверяется с бумагами, мысленно прокладывая маршрут, время от времени искоса поглядывает на пса, и тут ему вспоминается, как историк описывает ужасы голода, воцарившегося в городе после нескольких месяцев осады, когда не осталось ни собаки, ни кошки и даже крысы исчезли, но, значит, в таком случае прав был сказавший, что слышал собачий лай на том безмятежном рассвете, когда муэдзин поднялся на минарет призвать правоверных к утренней молитве, и ошибался утверждавший, что раз собаки – нечистые животные, мавры не потерпели бы их рядом, ну что ж, допустим, их отторгли от дома, ласки, кормушки, но не от ислама, ибо если мы способны, и очень даже способны, мирно уживаться с нечистотой своей собственной, то почему бы нам столь яростно отвергать нечистоту чужую, в данном случае собачью, которая заведомо невиннее и чище, чем у людей, так нехорошо распорядившихся названием этих животных, налево и направо, по поводу и

без швыряющих это ставшее бранным слово в лицо врагу, мавры – христианам, христиане – маврам, те и другие вместе – иудеям. Ну и если говорить лишь о предмете, нам хорошо известно, упомянем, что никто из направляющихся сюда португальских дворян, которые неустанно пекутся и заботятся о своих догах и бульдогах, холят их и лелеют до такой степени, что берут к себе в постель с тем же или даже большим удовольствием, что и или нежели любовниц своих, – вот поди ж ты – не сумел придумать для злейшего врага оскорбления хуже, чем: Собака, говорят они, и названия обидней, кроме разве что: Сукин Сын. И все это производится по произвольным критериям самих людей, это они создают слова, а бедные животные бесконечно чужды грамматикам и лишь безмолвно следят за ходом дискуссии: Собака, говорит мавр, От собаки слышу, отвечает христианин, и вот уж пошли в ход копье, меч и кинжал, меж тем как сами собаки тоже называют друг друга собаками, но обидного смысла в этом не усматривают.

Уяснив, какой дорогой идти, Раймундо Силва встает, отряхивает брюки и начинает спускаться по ступеням. Держась в отдалении, как существо, обогащенное давним опытом камнеметания, пес следовал за ним, и, чтобы отпугнуть его, человеку достаточно резко нагнуться и сделать вид, будто подбирает с земли камень. Почти в самом низу пес замешкался в нерешительности, словно думал: Идти или не идти, но вот решился наконец и потрусил за корректором, который меж тем был уже в проезде Коррейо-Вельо. Именно здесь или чуть ближе к городской черте, повторяя изгиб Сан-Криспина, стена шла, вероятно, направо, до известных ворот Ферро, от которых ныне и следа не осталось, и если бы взломать современную мостовую перед собором Святого Антония да копать вглубь, может быть, открылись бы нам древний фундамент, старинное оружие с чешуйками ржави, повеяло бы запахом склепа, увиделись бы два сплетенных – не в любовном объятии, но в единоборстве – скелета, а те, кем были они когда-то, кричали друг другу одновременно: Собака – и одновременно убивали друг друга. Вверх и вниз ездят автомобили, скрежещут на повороте Мадалены трамваи двадцать восьмого маршрута, особо любимого кинорежиссерами, а дальше, заворачивая, движется мимо собора еще один автобус с туристами – наверно, французами, полагающими, что находятся в Испании. Пес снова колеблется, идти ли дальше и удаляться ли от своего небольшого, обжитого и хорошо изученного мира, расположенного там, на верхних улицах, и хоть он видит, что человек, спускаясь по улице Падария, вдоль которой столетия назад тянулось полотно стены до самой улицы Бакальеурос, оглянулся, все же не решается продолжить путь – то ли нынешний страх сделался нестерпим от воспоминаний о прежнем ужасе, потому что не только пуганая ворона куста боится, но и псу не по себе. И прежней дорогой он возвращается на Эскадиньяс-де-Сан-Криспин поджидать того, кто появится.

Корректор меж тем входит через Арко-Эскуро и видит лестницу, насчет которой историк заявляет, будто она не выводила к проходу в крепостной стене, а верней сказать, утверждает, что всего лишь построена на месте той, что выводила, и ступени ее истерты подошвами всего лишь двух или трех поколений прохожих. Раймундо Силва медленно обводит взглядом темные проемы окон, закопченные неприветливые фасады, изразцовые панели азулежос – и в особенности ту, что датирована тысяча семьсот шестьдесят четвертым годом и изображает святую Анну, обучающую грамоте свою дочь Марию, а по бокам, в медальонах, – святого Марсалия, оберегающего от пожаров, и святого Антония, генерального склеивателя разбитого и верховного отыскивателя утерянного⁹. Изразцовая панель до известной степени может заменить сертификат подлинности, если значащаяся на ней дата, как всё заставляет думать, обозначает год постройки дома, возведенного через девять лет после землетрясения. Корректор ревизует арсенал своих сведений, признает его обширным и, вер-

⁹ Святой Антоний Падуанский (1195–1231), уроженец и покровитель Лиссабона, встретив у ручья девушку, которая плакала оттого, что разбила свой кувшин, сотворил чудо и восстановил его.

нувшись на улицу Бакальюейрос, с пренебрежительным превосходством смотрит на прохожих людей – прохожих и невежественных, чуждых этим городским и житейским диковинам до такой степени, что не в силах даже сопоставить две столь очевидные даты. Впрочем, уже через несколько шагов, возле Арко-дас-Портас-до-Мар, признав в глубине души, что если уж сохранилась от былых времен арка, названная Воротами в Море, она заслуживает иного архитектурного применения, иного, более достойного, так сказать, перевода в камень, нежели унылый дом с прозаической табличкой, сулящей растаможивание, и, поразмышляв несколько о несовпадениях слова и смысла, он спросил самого себя и строго спросил с себя самого: Какое, в конце концов, право имею я осуждать других, если живу в Лиссабоне с рождения и не припомню, чтобы собственными глазами увидел то, о чем читал в книгах, то, на что смотрел, и не раз, но так и не увидел, и был почти так же слеп, как тот муэдзин, и если бы не Коста, так бы, вероятно, и не додумался проверить стену и ворота, и, разумеется, окончив свою прогулку, я буду знать больше, но так же очевидно, что знать буду меньше, именно потому – а вот любопытно, сумею ли я объяснить это словами, – именно потому, что желание узнать побольше приводит к сознанию того, что знаешь мало, и тогда хочется спросить, что же такое это знание, нет, прав был автор, мое призвание – философия, мне бы в философы пойти, в те, которые хватают череп и всю жизнь расспрашивают, насколько важен этот череп для мироздания и есть ли у мироздания причина задуматься об этом черепе или чтобы кто-нибудь спросил себя о мироздании и черепе, ну вот мы и пришли, а это уже звучит голос гида, дамы и господ, туристы, иностранцы или здешние зеваки, и перед нами Арко-де-Консейсан, где стоял прежде знаменитый фонтан Лени, и многие, очень многие, что работы алкали, сладчайших вод его полакали и утолили эту жажду, и как тогда повелось, так и сейчас идет.

Раймундо Силва не спешит. С серьезным видом уточняет маршрут, для собственного удовольствия делая мелкие умственные, дополнительные, так сказать, заметки, удостоверяющие его собственную принадлежность к современности, – вон в проезде Коррейо-Велью угрюмое здание похоронного бюро, инверсионная струя оставляет белопенный след в небесной лазури, а винт стремительного катера – такой же, но в лазури морской, вот пансион Оливейра-Хорошие-Номера, совсем рядом с Воротами в Море – пивная Арко-де-Консейсан, каменный барельеф с гербом дома Маскареньясов на фронтоне дома у Арко-де-Жезус, где полагалось бы некогда быть воротам мавританской стены, вот протестующий лозунг на стене, вот неоклассический фасад дворца графов Кокулинов, что прежде были Маскареньясами, склады железа, вот тебе и все величие, как подвижно, как изменчиво все в этом мире, решительно все, все без исключения, потому что уже растаял в небе инверсионный след, да и со всем прочим управится время, дай только срок. Корректор вошел через Арко-до-Шафариж-до-Рей, пообедал он в харчевне на улице Сан-Жоан-де-Праса, вблизи башни Сан-Педро, а на обед закажет что-нибудь простонародно-национальное, вроде жареной макрели с рисом и помидорами, салата, и, если очень повезет, попадутся ему в тарелке нежнейшие листочки из самой сердцевины салатного кочешка, сбрызнутые, о чем известно далеко не всем, влагой несравненной утренней свежести, или каплями росы, что, впрочем, одно и то же и повторено здесь ради чистого удовольствия написать это и произнести. У дверей рестораника цыганская девочка лет двенадцати с безмолвным ожиданием протянула руку, молча, как было сказано, и пристально глядя на корректора, шедшего в окружении занимавших его мыслей и потому увидевшего не цыганку, а мавританку в час первоначальных тягот, когда еще было у кого просить, а собаки, кошки и крысы считали, что жизнь им будет обеспечена до самой смерти, которая последует от естественных причин, как то: болезни или межвидовой войны, и кто что ни говори, прогресс неостановим, и в наши дни никто в Лиссабоне не охотится на этих животных для пропитания. Но глаза ее предупредили – осада еще не снята.

Раймундо Силва, замедлив шаг, обойдет все, что ему еще осталось обследовать, – еще один пролет стены в Патио-де-Сеньор-да-Мурса, улицу Адиса, где стена идет вверх, и улицу Норберто де Араужо, недавно так окрещенную, эти камни и в самом деле живы, они здесь уже веков девять или десять, если не больше, еще со времен варваров, а все стоят, противостоят неколебимо колокольне церкви Санта-Лизия или Санто-Брас, какая разница, минутку внимания, дамы и господа, здесь открываются древние Портас-до-Сол, они первыми на рассвете принимают розоватое дуновение зари, сейчас от них не осталось ничего, кроме площади, унаследовавшей их имя, но спецэффекты зари остались прежними, ибо для солнца тысячелетие – что для нас краткий вздох, *сик транзит*, ясное дело. Стена проходила по этим местам, заворачивала под тупым углом направо, примыкала к ограде старинного форта, таким образом словно опоясывая город и завязывая этот кушак возле замка, у которого голова высоко поднята, руки согнуты и крепкие пальцы переплетены, как у беременной женщины, поддерживающей чрево. Корректор, утомясь, поднимается по улице Слепцов, входит в Патио-Дона-Фрадики, и время размыкается надвое, чтобы не соприкоснуться с этой деревней на скалах, и так повелось, по правде сказать, еще со времен готов, или римлян, или финикийцев, а мавры нагрянули уже потом, мы – коренные португальцы, дети и внуки их, вот кто мы, сила и слава, упадок, упадки, первый, второй и третий, и каждый из них подразделяется на рода, виды и отряды. И по ночам сюда, в стиснутую низенькими домиками теснину, сходятся три призрака – то, что было, то, что есть, то, что могло бы быть, и они не говорят друг с другом, а переглядываются так, как это делают слепцы, и молчат.

Раймундо Силва присаживается на каменную скамью, в прохладе послеполуденной тени, в последний раз сверяется со своими листками и убеждается, что смотреть больше нечего, о замке ему известно достаточно, чтобы не возвращаться к нему сегодня, пусть сегодня он и проводит инвентаризацию. Небо начинает белеть, – должно быть, это предвестие обещанного метеорологией тумана, температура быстро падает. Из дворика корректор выходит на улицу Шау-да-Фейра, оказавшись прямо напротив Порта-де-Сан-Жорже, и оттуда ему видно, что туристы все еще фотографируют Победоносца. А вот его дом отсюда не виден, даром что до него меньше полусотни метров, и едва лишь Раймундо Силва успел подумать об этом, как его впервые осеняет – да он ведь живет в том самом месте, где в старину открывались ворота Алфофы, а вот перед или за ними стоит дом, установить в наши дни уже не представляется возможным, и, значит, никак не удастся узнать нам, относится ли Раймундо Силва к осажденным или к осаждающим, будущий ли победитель он или наголову разбитый побежденный.

Под дверью не оказалось гневной записки от Косты. Стемнело, а телефон не звонил. Раймундо Силва покойно провел вечер, отыскивая на полках книги о Лиссабоне эпохи мавританского владычества. Потом вышел на балкон узнать, что за погода на дворе. Туман, но не такой густой, как вчера. Услышал, как перебrehиваются две собаки, и это почему-то вселило в него еще больший покой. Века разнятся, а собаки лают, и, значит, мир все тот же. Раймундо Силва лег в постель. Он так устал от своих дневных экзерсисов, что тотчас же уснул тяжелым сном, хоть и просыпался несколько раз, и каждый раз – когда ему снова и снова снилась похожая на мешок с узкой горловиной стена, за которой ничего не было, – стена, тянувшаяся до самой реки вдоль лесистых холмов, равнин, ручьев, разбросанных тут и там домиков, огородов, оливковых рощ, залива, глубоко врезанного в берег. Вдалеке различимы башни Амореiras.

Тринадцать долгих, бесконечно тянувшихся дней потребовалось издательству, или кому там оно это поручило, чтобы обнаружить злодеяние, и эту вечность Раймундо Силва прожил так, словно выпил отравы, действовавшей не сразу, но постепенно набравшей губительную силу молниеносного яда, совершенного подобия смерти, к которой каждый из

нас приуготовляется при жизни и для которой сама эта жизнь есть защитный кокон, удобная матка и культурный бульон. Четырежды навещался корректор в издательство без настоящего повода и дела, поскольку мы с вами знаем, что работу свою он справляет в одиночку и у себя дома и не ведает большей частью цепей, по воле дирекции, редакции, производственного отдела, отдела распространения и склада готовой продукции оковывающих штатных сотрудников, людей подневольных, поднадзорных, с точки зрения которых корректор пребывает в царстве свободы. Его спрашивали, чего ему надо, и он отвечал: Ничего, мимо проходил, дай-ка, думаю, зайду. Он прислушивался к разговорам, ловил взгляды, пытался ухватить нить подозрения в притворной провокационной улыбке, в выуженном из фразы скрытом смысле. Он избегал Косты, но не из боязни какого-то особого ущерба, а потому, что обманул именно его и теперь делал из Косты фигуру оскорбленной невинности, каковой фигуре не в силах мы взглянуть в глаза, ибо о нанесенном ей оскорблении она еще не знает. Так и подмывает сказать, что Раймундо Силву тянуло в издательство, как преступника на место преступления, но это было бы неточно, потому что на самом деле тянуло Раймундо Силву туда, где преступление будет раскрыто и где соберутся судьи для оглашения приговора ему – лживому, наглому, нагому, беззащитному нарушителю долга.

У корректора нет и тени сомнения в том, что он совершает глупейшую ошибку и что в должный час эти его визиты ему припомнят и истолкуют как особо мерзкое выражение извращенного злодейства: Вы сознавали, какое зло причинили, но, несмотря на это, не нашли в себе мужества – да, так и скажут насчет мужества – и порядочности признаться самому, а вместо этого ждали развития событий, злорадно похохатывая в душе, извращенно – я настаиваю на этом определении – наслаждаясь нами, и двусмысленность последних слов прозвучит диссонансом в этой обвинительно-осудительной речи. И бессмысленно будет доказывать им, что Раймундо Силва прежде всего тщился обрести спокойствие, а искал только облегчения: Еще не знают, вздыхал он всякий раз, но недолги были эти облегчение и душевный мир, которые исчезали, как только он входил к себе в дом, где немедленно чувствовал себя в такой осаде, какая Лиссабону и не снилась.

Как человек далекий от суеверий, он не ждал, что тринадцатого числа произойдет какая-нибудь неприятность: Тринадцатого числа разного рода гадости или неурядицы случаются только у людей, опутанных предрассудками, я же никогда не руководствовался таким невежественным вздором, скорей всего ответил бы он тому, кто выдвинул бы подобное предположение. И этим принципиальным скептицизмом объясняется, почему он прежде всего досадливо удивился, когда подошел к телефону и услышал в трубке голос секретарши директора: Сеньор Силва, сегодня к четырем часам вам надлежит быть на совещании, причем звучали эти слова так сухо, словно их читали по бумажке, тщательно отредактированной, чтобы не выпало и не добавилось ни единого слова, способного ослабить действенность морального удара, благо – а благо ли, спросим – теперь досада с изумлением не имеют ни малейшего смысла перед тем очевидным фактом, что тринадцатое число не щадит и наделенных силой духа, а уж силы этой лишенными вертит как хочет. Раймундо Силва медленно положил трубку и огляделся, причем ему показалось, что все вокруг плывет и колеблется: Ну вот оно, готово дело, сказал он себе. В такие минуты стоик улыбается, если, конечно, классическая их разновидность не исчезла полностью, освободив пространство для маневра современному цинику, в свою очередь имеющему самое отдаленное сходство со своим предком, неимущим философом. Так или иначе, на лице Раймундо Силвы возникает бледная улыбка, и безропотная покорность жертвы, приемлющей свой удел, приправлена мужественной печалью, которая чаще всего встречается в романах, – о, сколь многое постигается при перечитывании.

Он спрашивает себя, томит ли его дурное предчувствие, и ответа не находит. Но совершенно невыносимым кажется ему ждать до четырех часов, чтобы узнать, как распорядится

издательство судьбой проштрафившегося корректора, как покарает оно дерзкое покушение на незыблемость исторических фактов, которую, напротив, должно постоянно упрочивать, оборонять от случайностей, грозящих нам утратой нашей собственной значимости, что ведет к перетряхиванию убеждений, которыми мы руководствуемся, и к отклонению от верного курса. Сейчас, когда ошибка обнаружена, бессмысленны умственные спекуляции о последствиях, какие возымело бы в будущем это НЕ в Истории Осады Лиссабона, если бы по чистой случайности эту частицу не выловили бы, а позволили бы ей более длительное внедрение в текст страница за страницей – внедрение, незаметное глазу читателя, но столь же губительное, как работа невидимых жучков-древоточцев, оставляющих пустую оболочку от того, что мы еще продолжаем считать тяжелым и прочным шкафом. Раймундо Силва отодвинул в сторону гранки – нет, не романа, который оставил ему Коста в достопамятный день, а тоненькой книжки стихов – и, обхватив закружившуюся голову, вспомнил историю – и название, и автор в памяти не застряли, – что-то такое о Тарзане и Потерянной Империи, книгу, где рассказывалось о городе древних римлян и первых христиан, затерянном в дебрях африканской сельвы, ну да, разумеется, авторская фантазия удержу не знает и берегов не видит, а автор этот, если все прочее совпадет, может быть только Эдгаром Райсом Берроузом¹⁰. Там, помнится, был еще цирк, и христиан бросали на съедение хищникам, точнее львам, тем более что в том краю водится их во множестве, и романист писал, не утруждая себя доказательствами или ссылкой на авторитетные источники, что те несчастные, у кого нервы не выдерживали, не ожидали покорно, когда львы на них набросятся, а бросались, так сказать, сами навстречу смерти, и не потому, что стремились первыми войти в Царствие Небесное, а потому, что духу не хватало выдерживать ожидание неизбежного. И это воспоминание о прочитанном в юности по всем известной филиации идей навело Раймундо Силву на мысли о том, что у него в руках – способ ускорить ход истории, прищипорить время, немедленно отправиться в издательство под таким, например, предлогом: На четыре я записан к врачу, и пусть говорят что хотят, но секретарша директора вызывает его не на встречу с Производством, его вопрос будет решаться в высших сферах, это же ясно, и эта ясность, как ни странно, приятно щекочет его самолюбие: Должно быть, я сошел с ума, пробормотал он, повторяя слова, сказанные тринадцать дней назад. В этом смятении чувств ему хотелось бы найти такое, что возобладаало бы над остальными, с тем, чтобы позднее, когда спросят: Как же вы себя чувствовали в этом ужасном положении, он смог бы ответить: Мне было беспокойно, или безразлично, или забавно, или не по себе, или страшно, или стыдно, и, по правде говоря, он и сам не знает, что чувствует, и хочет только, чтобы поскорее настали четыре часа и произошла эта роковая встреча со львом, ожидающим его с открытой пастью и под рукоплескания римлян, такое уж свойство у минут, и, хотя обычно они, оцарапав нам кожу, подаются в сторонку и дают пройти, всегда найдется одна такая, которая нас пожрет. Все метафоры времени и рока трагичны и одновременно бесполезны, подумал Раймундо Силва. Подумал, может быть, не этими самыми словами, но, поскольку в зачет идет только смысл, мысль его была именно такова, и он остался ею доволен. Меж тем он едва сумел пообедать, в горле стоял комок – знакомое ощущение, – и желудок сводило спазмами, что говорило о серьезности ситуации. Прислуга – сегодня был как раз ее день – заметила, что он как будто не в себе, и спросила даже: Нездоровится, и эти слова неожиданно возымели ободряющее действие, потому что если уж необычность его состояния так бросается в глаза и глаза эти видят в нем больного, значит пришло время взять себя в руки, стряхнуть гнетущий морок. И потому он ответил: Нет, я прекрасно себя чувствую, и в этот миг так оно и было.

¹⁰ Эдгар Райс Берроуз (1875–1950) – американский писатель, получивший большую популярность благодаря книгам о Тарзане. Здесь имеется в виду 12-й роман серии «Тарзан и Потерянная Империя» (*Tarzan and the Lost Empire*, 1928).

Без пяти четыре он вошел в издательство. Все было так, как он ожидал, – перешептыванья, смешки, взгляды, а кроме этого, на лицах кое у кого некоторая растерянность, какая бывает, когда не довольствуешься очевидностью, а должен еще и поверить в нее. Его провели в приемную директора и оставили дожидаться не менее четверти часа, что служит демонстрацией не отсутствия пунктуальности, а суетного желания внушить страх. Он взглянул на часы – понятно было, что лев задерживается, сегодня трудно ехать по сельве, даже по римским дорогам, хотя в таком случае вероятней всего предположить, что кто-то решил применить проверенную психологическую тактику, а именно измотать ему нервы ожиданием, довести до грани срыва и лишит возможности отбить первую атаку. Раймундо Силва, несмотря на все эти обстоятельства, отмечает, что довольно спокоен, спокоен так, словно всю жизнь заменял истину ложью, не слишком присматриваясь к отличиям, и научился выбирать скопленные на протяжении долгих веков доводы за и против, с какой бы казуистической диалектикой ни расцветали они в голове хомо сапиенса. Дверь резко распахнулась, и на пороге возникла секретарша – нет, не наиглавнейшего директора, а того, кто ведает в этом издательстве литературной частью, то есть главного редактора, и: Прошу вас следовать за собой, Раймундо Силва, машинально заметив дефект в этой фразе, мигом убедился, что спокойствие его было чисто внешним, более того – наносным и деланным, и, когда он поднялся с дивана, колени его задрожали, в крови взбурлил адреналин, обильная испарина внезапно увлажнила ему ладони и подмышки, и протяженная колика дала понять, что желала бы распространиться на всю систему пищеварения. Я похож на бычка, которого ведут на бойню, подумал он и, к счастью, оказался способен презирать себя.

Секретарша отступила в сторону: Входите, и закрыла дверь. Раймундо Силва сказал: Здравствуйте, и двое сидевших в кабинете ответили: Здравствуйте, а третий, то есть главный редактор, ограничился лишь: Садитесь, сеньор Силва. Лев тоже сидит и смотрит, и мы вправе предположить – смотрит и облизывается и щерит клыки, оценивая, насколько плотна и вкусна плоть этого бледного христианина. Раймундо Силва садится нога на ногу, но тотчас расплетает ноги и в этот миг понимает, что женщина, сидящая слева от главного редактора, ему неизвестна. Справа-то – начальник производственного отдела, а вот ту, что слева, он никогда прежде не видел в издательстве. Кто бы это мог быть. Он незаметно рассматривает ее, но редактор спрашивает: Вам известно, по какой причине мы вас пригласили. Примерно. Сеньор генеральный директор хотел лично принять участие в разбирательстве, но срочное дело в последнюю минуту помешало ему присутствовать. Он помолчал, давая Раймундо Силве время попенять немного на свой жалкий жребий, посетовать, что потерял возможность быть лично допрошенным сеньором генеральным директором, но, поскольку корректор молчал, впервые позволил себе сдержанно-раздраженные интонации, смягченные, впрочем, примирительным смыслом слов: Мы благодарим вас, сказал он, за то, что признали свою ответственность, тем самым избавляя нас от очень неприятной ситуации, к которой привели бы запирательства или попытки оправдать ваш поступок. Раймундо Силва подумал, что теперь, наверно, от него ждут ответа более развернутого, нежели одно слово: Примерно, но прежде чем он успел заговорить, вмешалось Производство: Я до сих пор в себя не приду, сеньор Силва, как вы, компетентный специалист, столько лет проработавший на наше издательство, могли допустить такую ошибку. Это была не ошибка, оборвал главный редактор, не следует бросать такой спасательный круг сеньору Силве, и мы знаем не хуже его, что сделано это было сознательно, не так ли, сеньор Силва. Что заставляет вас думать, сеньор, что это было сделано сознательно. Я очень надеюсь, что вы не отступитесь от той первой мысли, с которой, как мне кажется, вошли сюда. Я не отступаю, я всего лишь спрашиваю. Раздражение главного редактора сделалось вполне очевидным, но все же еще только насмешка сквозила в его словах: Надеюсь также, что мне не придется напоминать вам, что право задавать вопросы и требовать извинений, помимо иных мер, которые

мы планируем принять, принадлежит не вам, а нам, в частности и главным образом мне, представляющему здесь генерального директора. Вы совершенно правы, сеньор, и я снимаю свой вопрос. Не трудитесь, не надо, я отвечу вам на него – мы поняли, что это произошло не случайно, а осознанно, когда увидели, как четко, жирно и отчетливо выведено в корректуре слово НЕ, столь непохожее на ваш обычный почерк, небрежный, хотя и разборчивый. На этом месте главный редактор вдруг осекся, словно спохватившись, что сболтнул лишнего и тем самым ослабил свою судейскую позицию. Наступило молчание, и Раймундо Силве показалось, что неизвестная женщина все это время не сводила с него глаз: Да кто это, но она хранила молчание, как будто все происходящее ее несколько не касалось. В свою очередь начальник Производства, обиженный тем, что его перебили, явно потерял интерес к дискуссии, которая, по его мнению, явно пошла не туда и не так, подумал: Этот идиот не видит, что ли, что разбираться надо было совсем иначе, говорит-говорит, никак не остановится, упивается своими речами, а все козыри у Силвы, а он, похоже, развлекается, как божество, тем, как дирижирует паузами и монологами и так спокойно держится, хотя, наверно, перепуган до смерти. В отношении спокойствия Раймундо Силвы Производство ошибалось, а насчет всего остального очень похоже, что нет, хотя мы и недостаточно близко знакомы с главным редактором, чтобы выносить о нем собственное суждение. А Раймундо Силва на самом деле совсем даже не спокоен, но лишь кажется таковым благодаря тому, что совершенно обескуражен и неожиданным поворотом разговора, который кажется ему катастрофическим, и предъявлением формального обвинения, и собственным невнятным лепетом в защиту защите не подлежащего, позором, тяжелой насмешкой, угрозой и в качестве кульминации – весьма вероятным увольнением: Вы уволены, и прошу не рассчитывать на хорошие рекомендации. Раймундо Силва понимает, что вот сейчас должен заговорить, тем более что лев уже не прямо перед ним, а отошел немного в сторону и рассеянно чешет гриву обломанным когтем, и, быть может, ни один христианин не погибнет в этом цирке, даже не получив сигнала от Тарзана. И Раймундо Силва говорит, обращаясь сперва к Производству, а потом – к неведомой женщине, которая по-прежнему молчит: Не отрицаю, что это слово написано мной, я и не думал отрицать, когда это стало известно, но дело не в том, написал я его или нет, гораздо важнее, мне кажется, понять, почему я его написал. Надеюсь, вы не станете утверждать, что не знаете этого, насмешливо спросил Главный, вновь перехватив бразды правления. Да, именно так, не знаю. Вот это мило – вы совершаете с заранее обдуманном намерением некую обманную акцию, которая причинит моральный и материальный ущерб автору и издательству, не находите ни слова в свое оправдание и с самым невинным видом просите нас поверить, что какая-то неведомая сила или чей-то дух водили вашей рукой, а вы, наверно, пребывали в гипнотическом трансе. Довольный тем, как гладко и текуче выстроилась фраза, Главный улыбнулся, однако постарался придать улыбке уничижительно-насмешливое выражение. Не думаю, что пребывал в трансе, ответил Раймундо Силва, я очень хорошо помню, при каких обстоятельствах все было, но это не объясняет, почему же все-таки я допустил эту намеренную ошибку. Ага, значит, вы признаете, что это было намеренно. Разумеется. Теперь осталось лишь признать, что это была не ошибка, а своего рода диверсия и что вы сознательно желали причинить ущерб издательству и выставить на посмешище автора. Допускаю, что совершил подлог, а все прочее, вами упомянутое, не входило в мои намерения. Может быть, какое-то мимолетное помрачение рассудка, спросило Производство, как бы придя на выручку. Раймундо Силва, подождав и не дождавшись бурной реакции главного редактора, понял, что участливый вопрос был приготовлен загодя, что увольнения не будет, а все останется в словах – да, нет, может быть, – и испытал такое облегчение, что тело его обмякло, а с души свалился камень, и теперь надо было всего лишь подобрать в свою очередь нужные, вроде: Да, вот именно, мимолетное помрачение рассудка, однако мы не можем забывать, что до вручения корректуры Косте прошло

несколько часов, и Раймундо Силва поздравил себя с тем, как удачно употребил здесь первое лицо множественного, тем самым поставив себя бок о бок с судьями и как бы сказав: Мы не должны обманываться. Сказал главный редактор: Ну, вклеим список замеченных опечаток, а это нелепая ошибка, и там, где написано *не*, следует читать не *не*, а там, где *крестоносцы не помогут* – *крестоносцы помогут*, над нами будут смеяться, но, в конце концов, мы же спохватились вовремя, автор же проявил понимание, у меня вообще создалось впечатление, что он чрезвычайно высоко вас ценит, он рассказывал мне о вашем разговоре. Да, был у нас разговор, речь зашла о *делеатуре*. О чем, переспросила неизвестная женщина. О *делеатуре*, вы разве не знаете, что это такое, напористо ответил Раймундо Силва. Знаю, я просто не расслышала. Совершенно неожиданное вмешательство этой женщины изменило течение беседы. Позвольте вам представить, сказал главный редактор, с сегодняшнего дня ваша собеседница будет отвечать за работу всех наших корректоров, как в отношении сроков и ритмичности, так и в смысле повышения качества, все это теперь – в ее компетенции, но вернемся к нашей теме, могу сообщить, что издательство приняло решение предать забвению это неприятное происшествие, исходя прежде всего из того, что работа сеньора Силвы до сих пор не вызывала ни малейших нареканий, так что будем считать – все дело было в усталости, в случайной и недолгой, так сказать, облитерации чувств, а потому поставим на этой истории крест в надежде, что подобное не повторится, ну и, помимо этого, хорошо бы вам, сеньор Силва, направить письмо с извинениями в издательство и еще одно – автору; автор, впрочем, говорит, что в этом нет необходимости, что при случае сам обсудит с вами досадный инцидент, однако мы все же считаем, сеньор Силва, что ваш долг – написать. Напишу. Ну вот и хорошо, сказал Главный с нескрываемым облегчением, излишне говорить, что в ближайшее время на вашу работу будет обращено особое внимание, и не потому, что вы намеренно вновь исказите текст, но для того, чтобы вовремя пресечь и заблокировать рецидивы таких вот случайных и неконтролируемых побуждений, ну да, и можно не добавлять, что в этом случае мы будем не столь терпимы. Главный сделал паузу, давая корректору время продекларировать свои грядущие намерения, по крайней мере – осознанные, поскольку иные, то бишь подсознательные, скрыты, само собой, в подсознании и контролю не подлежат. Раймундо Силва понял, чего от него ждут, и, разумеется, слова требуют слов, недаром же говорится: Слово за слово, но ведь не менее верно и то, что: Когда один не хочет, двое не спорят, и представим на миг, что было бы, откажись Ромейро утолить роковое любопытство Оруженосца Телмо¹¹, вероятней всего, все уладилось бы, и не было бы конфликта, драмы, смерти, всеобщего несчастья, или вообразим себе, как мужчина спрашивает женщину: Ты меня любишь, а она молчит и только смотрит отстраненным взглядом сфинкса, не желая произнести слово Нет, которое его уничтожит, или Да, которое погубит обоих, так что позвольте в заключение предположить, что мир стал бы стократ совершенней, если бы каждый довольствовался лишь тем, что произносит сам, не ожидая ответа от другого и, более того, ответа не прося и не желая. Но Раймундо Силва обязан сказать так: Понимаю, что издательство обязано принять меры предосторожности, и какое у меня право обижаться на это или толковать в дурную сторону, так что я прошу меня простить и обещаю, что, будучи в здравом уме, никогда не повторю свой проступок, и тут он сделал паузу, как бы спрашивая себя, надо ли продолжать, и, сочтя, что все и так сказано, замолк окончательно. Главный сказал: Ну хорошо – и только приготовился добавить всеми ожидаемое: Будем считать, что инцидент исчерпан, и давайте займемся делами, вставая и в знак примирения с улыбкой протягивая руку Раймундо Силве, как женщина слева от него разрушила эту аллгорию великодушия: Простите, сказала она, вы позволите мне, мне кажется очень странным, что сеньор Раймундо Силва, так, кажется,

¹¹ Герои пьесы писателя-романтика Жуана Батисты де Алмейды-Гарретта (1799–1854) «Брат Луис де Соуза» (*Frei Luís de Sousa*, 1844).

и не попытался даже объяснить нам причину столь тяжкого проступка, выразившегося в том, что он самовольно изменил смысл фразы, хотя во исполнение своего корректорского долга обязан был, напротив, всемерно оберегать и защищать его, ибо именно для этого и существуют корректоры. Внезапно опять возникает рычащий лев, ощеря страшные клыки, показывая необломанные, остро отточенные когти, и надежда теперь у нас, пропадающих на арене, только на Тарзана – вот он появится, раскачиваясь на лиане со своим характерным криком – Ах-ахах-хоо, если память нам не изменяет, – и, может быть, приведет с собой на помощь слонов, благо у них хорошая память. При виде такой неожиданной и, в сущности, неуместной атаки Главный и Производство снова принахмурились, вероятно, для того, чтобы не услышать обвинения в слабости со стороны этой хрупкой женщины, которая столь убежденно толковала о своих профессиональных обязанностях, хоть и приступила к ним совсем недавно, и воззрились на корректора с должной суровостью. Причем они не заметили, что на ее лице суровости как раз и не было, а, напротив, играла легкая улыбка, как если бы ситуация чем-то забавляла ее. Раймундо Силва не без растерянности перевел на женщину взгляд и убедился, что она относительно молода, сорока еще нет, высока ростом, что кожа у нее смуглая, волосы каштановые – корректор, подойди он вплотную, заметил бы в них седые нити, – губы пухлые, чтобы не сказать мясистые, хотя и не толстые, и вот странность – по всему телу его прошла волна какого-то беспокойства, которое мы сочли бы уместным назвать возбуждением и, приискивая ему подходящее определение, могли бы прибавить – сексуальным, – могли бы, да не станем. Так долго тянуть с ответом нельзя, хотя в подобных ситуациях и принято говорить, что время остановилось, чего, кстати, за ним не водится от Сотворения мира. Улыбка еще не исчезла с лица женщины, но резкий и сухой тон высказывания, прямота которого непозволительна даже для прямых начальников, мимо ушей не пропустишь, и Раймундо Силва, немного поколебавшись, ответить ли столь же агрессивно или, надев убор субординации, примирительно, тем более что у этой женщины есть возможность в будущем сильно испортить ему жизнь, для чего все средства будут хороши, и взвесив все эти соображения с той мерой точности, какую позволяла скудость отпущенного на размышления времени, часть которого, не забудем, была потрачена на физиогномические наблюдения, наконец произнес: Я, как никто другой, хотел бы получить удовлетворительное объяснение, но если уж не сумел дать его до сих пор, вряд ли мне это удастся и в дальнейшем, а сам я полагаю, что во мне развернулась тогда схватка добра – если есть во мне оно – со злом – оно имеется у каждого, – между доктором Джекиллом и мистером Хайдом, простите ссылку на классику, а говоря своими словами, скажу: между переменчивым искушением зла и консервативным духом добра, и я порой спрашиваю себя, за какие же ошибки, допущенные Фернандо Пессоа в корректуре или еще где, пришлось ему лететь в этом вихре гетеронимов, подобном, полагаю, битве демонов. Женщина, продолжавшая улыбаться во все время этой тирады, с улыбкой же спросила: А помимо Джекилла и Хайда, кто вы еще. Пока что мне удавалось быть Раймундо Силвой. Превосходно, вот и постарайтесь держаться в этих рамках на пользу нашему издательству и во имя наших с вами отношений. По службе. Надеюсь, вам и в голову не пришло что-то другое. Я всего лишь окончил фразу, в обязанности корректора входит предлагать решения, которые устранят двусмысленность, как стилевую, так и смысловую. Полагаю, вы слышали, что двусмысленность – в голове у того, кто слышит или читает. Особенно если он получил стимул от того, кто сказал или написал. Или относится к тем, кто сам себя стимулирует. Думаю, я к ним не отношусь. Думаете. Я вообще не склонен к решительным заявлениям. Однако же решили вписать частицу НЕ в Историю Осады Лиссабона, но не находите в себе решимости если не оправдать этот свой поступок, потому что оправдания ему нет, то хотя бы объяснить. Простите, но мы вернулись к тому, с чего начали. Благодарю вас за это замечание, но мне нетрудно еще раз сказать вам, что я думаю о вашем поступке. Раймундо Силва открыл было рот, чтобы ответить, но тут заметил

на лицах начальства такое изумление, что решил промолчать. Молчали и остальные, а женщина продолжала улыбаться, и оттого, вероятно, что улыбалась она уже так давно, улыбка эта стала похожа на судорожную гримасу, и Раймундо Силва внезапно почувствовал, что задыхается и сгустившаяся в кабинете атмосфера давит ему на плечи: Вот мерзкая тварь, подумал он и перевел глаза на Главного и Производство, взглядом давая понять, что с этой минуты вопросы будет принимать только от них и только им согласен отвечать. Он знал, что партия выиграна, Главный и Производство уже поднялись, и один из них сказал: Ну, вопрос закрыт, пойдете работать, но никто не протянул Раймундо Силве руку, имея в виду, что этот сомнительный мир не заслуживает торжественных жестов, а когда корректор вышел, Главный сказал Производству: Вообще-то его следовало бы уволить, только и всего, но тут женщина возразила: Потеряли бы хорошего корректора. Ох, боюсь, мы с ним еще наплачемся. А может быть, и нет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.